

ПАМЯТНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ

Андрей  
ПЛАТОНОВ

РАССКАЗЫ  
ТОМ 5



IM WERDEN VERLAG  
МОСКВА - AUGSBURG 2003

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Никодим Максимов .....	3
2. Девушка Роза .....	6
3. Сын народа .....	10
4. Земля .....	14
5. Инженер .....	15
6. Течение времени .....	17
7. Черноногая девочка .....	21
8. Поэма мысли .....	23
9. Новогодняя фантазия .....	28
10. <Чтобы стать гением будущего...> .....	28
11. Московская скрипка .....	28
12. «Первый Иван» .....	39
13. Надлежащие мероприятия .....	45
14. Родина электричества .....	48
15. Рассказ не состоящего больше в жлобах .....	56
16. Жена машиниста .....	57
17. Добрый Кузя .....	61
18. Забвение разума .....	64
19. Немые тайны морских глубин .....	67
20. Родоначалники нации, или Беспоконные происшествия .....	71

Тексты печатаются по изданиям:

- 1-3. От Советского Информбюро... 1941-1945. Том 2. — М.: АПН, 1982 стр. 80-86, 146-151, 206-213  
4-7. «Звезда», № 8, 1999 Публикация Елены Колесниковой  
8-10. Статьи, подписанные псевдонимом Нищий обнаружены в воронежской периодике Е. Антоновой.  
12. «Химия и жизнь», 1987, № 5 ( Перепечатка из: «Октябрь», 1930, № 2)  
13-15, 19-20. Андрей Платонов. Собрание сочинений в 5-ти томах. М. Том 1. 1998.  
16. Андрей Платонов. Избранное. М. 1977. С. 265-271  
17-18. «Юность» 11'1988, стр. 2-5

© Андрей Платонов (наследники), 2003  
© «Im Werden Verlag». Составление и оформление. 2003  
<http://www.imwerden.de>  
[info@imwerden.de](mailto:info@imwerden.de)

## НИКОДИМ МАКСИМОВ

Максимов шел с поста на отдых. Их часть отвели во второй эшелон, и теперь бойцы расположились на временное жительство в людной деревне.

В одной избе плакали дети сразу в три голоса, и мать-крестьянка, измученная своим многодетством, шумела на них:

— А ну замолчите, а то сейчас всех в Германию отправлю — вон немец за вами летит!

Дети приумолкли. Никодим Максимов улыбнулся: стоял-стоял свет и достоялся, люди государствами детей пугают.

Максимов вошел в свою избу, в которой он был на постое.

Полуденное солнце вышло из-за дыма горящего леса и осветило через окно теплым светом внутреннее убранство русской избы: печь, стол и две лавки, красный угол, большое изображение Ленина, затем картинки над сундуком на бревенчатой тесаной стене — портреты петербургских красавиц девятнадцатого века, страницу из детского журнала со стихотворением «Корова Прова», несколько желтых фотографий родных и знакомых старого крестьянина — хозяина избы, — житейскую обыденную утварь возле печи, — это было обыкновенное жилище, в котором рождались, проводили детство и проживали жизнь в старину почти все русские крестьяне. Все здесь было знакомо, просто, но мило и привычно сердцу.

Максимов снял с себя солдатскую оснастку, разулся, сел и вздохнул, радуя покоем уставшее тело.

В избу постепенно набирались красноармейцы разных подразделений, хотя на постое в этой избе стоял всего один человек — Никодим Максимов. Они здоровались с хозяином и молча сидели некоторое время, поглядывая на старого крестьянина, на ясный свет неба в окне, медленно осматривая внутренность избы. Видимо, тут им было хорошо, в них оживало здесь тихое чувство своего оставленного дома, отца и матери, всего прошлого. Эта изба, пропахшая хлебом и семейством, воскрешала в них ощущение родного жилища, и они внимательно разглядывали старика, может быть угадывая в нем схожесть с отцом, и тем утешали себя. Потом, вздохнув и погасив сигарки, они прощались и уходили, но приходили другие, придумывая иногда ложные пустяки, чтобы видно было, что они явились не зря, а с причиной.

Старый крестьянин хорошо понимал душевное расположение красноармейцев, и он приглашал каждого сидеть и курить, пока им еще не вышло время идти на занятия или в бой.

Хозяин смотрел на своих гостей красноармейцев с гордостью и тайной завистью, которую он укрощал в себе тем, что он и сам непременно был бы бойцом, будь он помоложе.

— Эх, будь бы я теперь при силе, я воевал бы с жадностью, — высказался старик. — Кто сейчас не солдат, тот и не человек... Хоть ты со штыком ходи, хоть в кузнице балдой бей, а действуй в одно. Так оно и быть должно, а то как же иначе! Земле не пропадать, а народу не помирать...

— Народу не помирать, — согласился Максимов и тихо добавил: — А трудно, папаша, бывает нашему брату, который солдат...

Иван Ефимович с уважением уставился на Максимова — человека уже пожилого на вид, но не от возраста, а от великих тягот войны.

— Да то, нешто не трудно! Разве к тому привыкнешь — надо ведь от самого себя отказаться да в огонь идти?

— Привыкнешь, Иван Ефимович, — сказал Максимов. — Я вот два года на войне и привык, а сперва тоже — все, бывало, сердце по дому плачет...

— Да как же ему не плакать, ведь и ты небось человек, а дома у тебя семейство, — оправдал Максимова Иван Ефимович.

— Нет, — сказал Максимов. — Кто на войне домашней тоскою живет, тот не солдат. Солдат начинается с думы об отечестве.

Иван Ефимович удивился и обрадовался этим словам.

— И то! — воскликнул он. — Вот ведь правда твоя: одно слово, а что оно значит! Где, стало быть, обо всем народе и отечестве есть дума такая, оттуда солдат начинается... Где ж ты сообразил правду такую или услышал, что ль, от кого ее?..

— На войне, Иван Ефимович, ученье скорое бывает... Я ведь не особый какой человек, а так — живу и думаю...

— На кухню, что ль, за обедом пойдешь иль дома варить чего будешь? — спросил Иван Ефимович.

— Давай дома кашу погуще сварим — у нас крупа есть, сала положим, поедем да отдохнем, а то завтра на передовую нужно, там части замена будет, наш черед немцев держать...

— Должно, здорово они на нас прут?..

— Да что ж они прут! Прут, а в нас упираются и на месте стоят. Немецкое время прошло, Иван Ефимович. Соседи наши уж вперед на него пошли, и мы, должно, на него тронемся.

— Ну, дай бог.

Поевши, хозяин и красноармеец легли на отдых. С фронта, как равномерные и равнодушные удары волны о береговой камень, шла пушечная канонада, и созревающий хлеб за окном избы кланялся колосом от сотрясения земли.

В ночь Никодим Максимов встал с лавки и стал снаряжаться, чтобы идти в роту. Старик помогал ему собраться в темноте и все спрашивал: «Ну, как ты себя чувствуешь-то? Не боязно тебе уходить-то?»

— Нет, — говорил Максимов, — не пойду я, так тебе боязно тут будет... Прощай, отец!

Перед рассветом подразделение, в котором служил Максимов, заняло свое место в окопах на переднем крае, а бывшие здесь бойцы отошли на отдых в резерв. Максимов огляделся в рассвете: ему всегда нужно было сначала освоиться с местом, породниться с ним, точно он желал заручиться сочувствием всех окружающих предметов, чтобы они были ему в помощь.

Наша первая линия окопов проходила поясом поперек отлогой высоты, а впереди окопов земля опускалась в долину, занятую маломерным кустарником, в котором были луговые поляны с клеверными травами, что узнал Максимов по их сладкому, дремотному запаху, доходившему сюда с низовой сыростью; далее земля подымалась опять на высоту, поросшую рожью и уязвленную щербиной глубокого оврага. Там уже, прямо по водоразделу, проходила немецкая линия, обороняемая частоколом с проволокой. Это был курский край — степь и медленная волнистая земля, заросшая по своим влажным впадинам, орошенным малыми реками, перелесками и благоухающим разнотравьем.

Красноармейцы, пока было тихо, занимались своим хозяйством: подшивали ослабевшие пуговицы, перебирали и перекладывали вещи в мешках, убирая их поудобнее на сохранение, читали сызнова старые письма, чтобы получше понять их, осматривали обувь и рассуждали о ее ремонте.

Сосед Максимова слева, Семен Жигунов, тщательно выбривал концами ножниц волосы из ушей у сержанта Николая Шостко и сообщал сержанту сведения о пчелах; у Жигунова был такой план, чтобы после войны, наравне с сахароварением, развить пчеловодство до полного изобилия, потому что мед есть волшебная, исцелительная пища для нашего народа, которому нужно будет поправляться после войны для здоровой, счастливой жизни.

У Максимова не было дела, у него все было в исправности, поэтому он стал рассматривать муравьиную жизнь в земле, видя в этой жизни тоже важное дело.

Командир роты прошел по окопу и сказал бойцам:

— Задачу вы знаете?

Командир поговорил с бойцами и прошел далее. Позади послышалось глубокое гудение, словно зазвучал древний голос из каменных недр.

— Это наша авиация! — сказал Жигунов. — Давай сюда, птица небесная... Сколько там вас — штук десять-то прилетит иль нет?

Вначале прилетело девять бомбардировщиков. Они сразу с трепещущим свистом крыльев пали с неба на немецкую сторону и, вонзив бомбы в землю, ушли вверх, взревев покорными, работающими моторами. Вослед первым девяти самолетам прилетело еще восемь раз по девять. Черная горячая пыль взошла высоко к небу на немецкой стороне, и там стало темно.

Пыль с немецкой высоты постепенно опускалась в долину, и заметно было, как из пыльной тучи выпадали вниз более крупные, сухие комочки грунта, что походило на редкие капли дождя, но дождя, в котором нельзя освежиться и можно задохнуться.

Немцы стали отвечать артиллерийским огнем по нашей стороне; однако сразу же после ухода самолетов из ближних тылов наша артиллерия начала работать на сокрушение немецких рубежей, так что на русской стороне осыпалась земля с окопных отвесов и живые трещины пошли по цельному месту. Ничего не стало слышно, и вовсе сумрачно было впереди от рушащейся земли.

Максимов поглядел на ближних людей. Лица их уже были покрыты пылью, но солдаты были довольны.

— Гляди, что народ наш в тылах наработал! — крикнул Жигунов Максиму. — Видал, сколько теперь самолетов и орудий! Теперь и воевать не трудно!

В окоп бросились из воздуха два воробья и трясогузка; они сели на дно и прижались к земле, не пугаясь людей.

Тогда Максимов увидел на скате немецкого холма их пехоту. Хоть мы и в мешке, а кому легче — скоро увидим.

Максиму это положение понравилось потому, что оно было умным и смелым.

— Ничего, товарищи бойцы, — улыбнулся командир. — Окружение — это не стена. А если и стена, то мы сделаем из нее решето. Мы научились теперь это делать, вы сами знаете...

— Теперь воевать спокойно можно, — сказал Максимов. — Теперь у нас оружия много и понятие есть...

После полуночи в окопы тихо, один по одному, вошли еще две роты, и в земле стало тесно. Подремав немного, люди пробудились от неприятельского огня. Противник бил тяжелыми снарядами и уже рыхлил землю прямо возле линии окопов. Майор, общий командир всего трехротного отряда, приказал оставить рубеж и, выйдя осторожно вперед, залечь в низовом кустарнике и изготавиться там к штурму немецкой высоты; проволоки на той высоте теперь уже не было, ее размолотила наша артиллерия.

Максимов заодно со всеми пополз из окопов книзу, мимо охладелых немецких солдат. Пылью, комьями земли и жаром обдало Максимова от близкого разрыва снаряда. Он поскорее пополз дальше, а потом приподнялся и побежал в кустарник.

— Стой, обожди, ты кто? — глухо прошептал ему кто-то с темной земли, совсем теперь невидимой после слепящих разрывов.

— Я Максимов, а ты?

— Лейтенант Махотин... Ты помоги мне маленько... Максимов склонился к человеку и узнал в нем командира своей роты.

— Что с вами, товарищ лейтенант?

— Ранен, должно быть, осколком, стыну весь, убери меня с поля, пусть бойцы меня не видят — им в атаку скоро идти... Найди пойд майора... Одни руки действуют у меня, подняться никак не могу.

Максимов нашел майора уже внизу, в кустарнике, и доложил ему. Майор послал с Максимовым санитаря и приказал им вынести лейтенанта с поля и найти для него безопасное убежище.

Вскороности Максимов и санитар принесли лейтенанта в ту деревню, где еще вчера гостил Максимов у доброго старика.

Иван Ефимович не спал; от больших лет и войны он спал теперь вовсе мало.

Старый человек заплакал при виде раненого молодого лейтенанта и стал стелить для него мягкую постель.

— Немецкие танки тут проходили? — спросил лейтенант.

— Да, гудели недалеко, из пушек били — чума их знает, — ответил Иван Ефимович.

Санитар осмотрел свои перевязки на теле лейтенанта и, уложивши раненого удобно в постель, ушел за врачом.

— Трудно вам, товарищ лейтенант? — спросил Максимов. — Усните, а я постерегу вас от немцев...

Лейтенант грустно поглядел на Максимова побледневшими, обессиленными глазами.

— Мне не трудно, — сказал он тихо.

Лейтенанту стало легче при близких людях, и он сказал им:

— Мне не трудно, я вытерплю — и опять на войну... Махотин закрыл глаза от слабости и умолк на время, потом их открыл и отыскал взором Максимова:

— Ступай обратно в роту!

— А как же вас оставить одного, товарищ лейтенант?.. Тут немцы бродят, а вы ослабли.

— Иди, я тебе сказал. Ты там нужен, а мы здесь с дедушкой сами обороняться будем...

— Да ведь раз дело такое, то придется, — сказал Иван Ефимович.

— Пойди сюда, товарищ Максимов! — произнес лейтенант. — Мы давно с тобой служим, ты живой, ты здоровый, ты опять будешь сегодня в бою...

Максимов наклонился к постели и осторожно, вытерев сначала губы, поцеловал командира в лоб. А потом он взял винтовку и ушел из избы вперед, в свою роту.

Июль 1943 года

## ДЕВУШКА РОЗА

В рославльской тюрьме, сожженной фашистами вместе с узниками, на стенах казематов еще можно прочитать краткие надписи погибших людей. «17 августа день именин. Сижу в одиночке, голодный, 200 граммов хлеба и 1 литр баланды, вот тебе и пир богатый. 1927 года рождения. Семенов». Другой узник добавил к этому еще одно слово, обозначившее судьбу Семенова: «Расстрелян». В соседнем каземате заключенный обращался к своей матери:

Не плачь, моя милая мама,  
Не плачь, не рыдай, не грусти.  
Одна ты пробудешь недолго  
На этом ужасном пути...

Сижу за решеткой в темнице сырой,  
И только лишь бог один знает —  
К тебе мои мысли несутся волной,  
И сердце слезой заливает.

Он не подписал своего имени. Оно ему было уже не нужно, потому что он терял жизнь и уходил от нас в вечное забвение.

В углу того же каземата была надпись, нацарапанная, должно быть, ногтем: «Здесь сидел Злов». Это была самая краткая и скромная повесть человека: жил на свете и томился некий

Злов, потом его расстреляли на хозяйственном дворе в рославльской тюрьме, облили труп бензином и сожгли, чтобы ничего не осталось от человека, кроме горсти известкового пепла от его костей, который бесследно смешается с землей и исчезнет в безымянном почвенном прахе.

Возле надписи Злова были начертаны слова неизвестной Розы: «Мне хочется остаться жить. Жизнь — это рай, а жить нельзя, я умру! Я Роза».

Она — Роза. Имя ее было написано острием булавки или ногтем на темно-синей краске стены; от сырости и старости в окраске появились очертания таинственных стран и морей — туманных стран свободы, в которые проникали отсюда своим воображением узники, всматриваясь в сумрак тюремной стены.

Кто же была эта узница Роза и где она теперь — здесь ли, на хозяйственном дворе тюрьмы, упала она без дыхания или судьба вновь ее благословила жить на свободе русской земли и опять она с нами — в раю жизни, как говорила о жизни сама Роза? И кто такой был Злов? Он ничего не сказал о себе и лишь отметил на тюремной стене, что жил такой на свете человек.

Следов существования Злова мы найти не сумели, но Роза и среди мучеников оказалась мученицей, поэтому судьба ее осталась в памяти у немногих спасшихся от гибели людей. Узники, которых выводили на двор для расстрела, утешали себя воспоминанием о Розе: она уже была однажды на расстреле, и после расстрела она пала на землю, но осталась живой; поверх ее тела положили трупы других павших людей, потом обложили мертвых соломой, облили бензином и предали умерших сожжению; Роза не была тогда мертва, две пули лишь неопасно повредили кожу на ее теле, и она, укрытая сверху мертвыми, не сотлела в огне, она убереглась и опаматовалась, а в сумрачное время ночи выбралась из-под мертвых и ушла на волю через развалины тюремной ограды, обрушенной авиабомбой. Но днем Розу опять взяли в городе фашисты и отвели в тюрьму. И она опять стала жить в заключении, вторично ожидая свою смерть.

Кто видел Розу, тот говорил, что она была красива собою и настолько хороша, словно ее нарочно выдумали тоскующие, грустные люди себе на радость и утешение. У Розы были тонкие, вьющиеся волосы темного цвета и большие младенческие серые глаза, освещенные изнутри доверчивой душой, а лицо у нее было милое, пухлое от тюрьмы и голода, но нежное и чистое. Сама же вся Роза была небольшая, однако крепкая, как мальчик, и умелая на руку, она могла шить платья и раньше работала электромонтером; только делать ей теперь нечего было, кроме как терпеть свою беду; ей сравнялось девятнадцать лет, и на вид она не казалась старше, потому что умела одолевать свое горе и не давала ему старить и калечить себя, — она хотела жить.

Второй раз ждала Роза своей смерти в рославльской тюрьме, но не дождалась ее: немцы помиловали Розу, они поняли, что если убить человека один раз, то более с ним нечего делать и властвовать над ним уже нельзя; без господства же немцу жить неинтересно и невыгодно, ему нужно, чтоб человек существовал при нем, но существовал вполжизни, — чтоб ум у человека стал глупостью, а сердце билось не от радости, а от робости — из боязни умереть, когда велено жить.

Розу вызвали на допрос к следователю. Следователь был уверен, что она все знает о городе Рославле и о русской жизни, словно Роза была всею советской властью. Роза всего не знала, а что знала, про то сказать не могла. Она пила у следователя мюнхенское пиво, ела подогретые сосиски и надевала новое платье. Так называл свое угощение следователь, обращаясь к своим подручным, которых заключенные называли «мастерами того света». Для Розы приносили пивную бутылку, наполненную песком, и били ее этой бутылкой по груди и животу, чтобы в ней замерло навсегда ее будущее материнство; потом Розу стегали гибкими железными прутьями, обжигающими тело до костей, и когда у нее заходило дыхание, а сознание уже дремало, тогда Розу «одевали в новое платье»: ее туго пеленали жестким черным электрическим проводом, утопив его в мышцы и меж ребер, так что кровь и прохладная предсмертная влага выступала наружу из тела узницы; потом Розу уносили обратно в одиночку и там оставляли на цементном полу; она всех утомляла — и следователя, и «мастеров того света».

Что же нужно было врагам делать дальше? Живая русская девчонка им не подчинялась; можно было бы ее мгновенно убить, но владеть мертвецами было бессмысленно.

Своею жизнью, равно и смертью, эта русская Роза подвергала сомнению и критике весь смысл войны, власти, господства и «новой организации» человечества. Такое волшебство не может быть терпимо — разве бесцельно и напрасно легли в землю германские солдаты?

Немецкий военный следователь задумался в рославльской тюрьме. Над кем разрешено будет властвовать, когда германский народ останется жить в одиночестве на большом кладбище всех прочих народов?

Следователь утратил свое доброе деловое настроение и позвал к себе «скорого Ганса», прозванного скорым за мгновенную исполнительность. Иоганн Фохт прежде долго жил в Советском Союзе, он хорошо знал русский язык. Следователь велел «скорому Гансу» принести сначала водки, а затем спросил у него — как надо организовать человека, чтобы он не жил, но и не умер.

— Пустяк дело! — сразу понял и ответил Ганс.

Следователь выпил, настроение его стало легким, и он велел Гансу сходить к Розе в камеру и проверить — живая она или умерла.

Ганс сходил и вернулся. Он доложил, что Роза дышит, спит и во сне улыбается, и добавил свое мнение:

— А смеяться ей не полагается!..

Следователь согласился, что смеяться Розе не полагается, жить ей тоже не надо, но убивать ее также вредно, потому что будет убыток в живой рабочей силе и мало будет назидания для остального населения. Следователь считал, что нужно бы из Розы сделать постоянный живой пример для устрашения населения, образец ужасной муки для всех непокорных; мертвые же не могут нести такой полезной службы, они вызывают лишь сочувствие живых и склоняют их к бесстрашию.

— Полжизни ей надо дать! — сказал «скорый Ганс». — Я из нее полудурку сделаю...

— Это что полудурка? — спросил следователь.

— Это я ее по темени, — показал себе на голову Ганс, — я ее по материнскому родничку надавлю рукой, а в руку возьму предметы по потребности.

— Роза скончает жизнь, — сказал следователь.

— Отдышитесь, — убедительно произнес «скорый Ганс», — я ее умелой рукой, я ее до смерти не допущу...

«Он будет фюрер малого масштаба», — подумал следователь о Гансе и велел ему действовать.

Наутро Розу выпустили из тюрьмы. Она вышла оттуда в нищем платье, обветшалом еще от первых, давних побоев, и босая, потому что башмаки ее пропали в тюремной кладовой... Была уже осень, но Роза не чувствовала осенней прохладной поры: она шла по Рославлю с блаженной робкой улыбкой на прекрасном открытом лице, но взор ее был смутный и равнодушный, и глаза ее сонно глядели на свет. Роза видела теперь все правильно, как и прежде, — она видела землю, дома и людей; только она не понимала, что это означает, и сердце ее было сдавлено неподвижным страхом перед каждым явлением.

Иногда Роза чувствовала, что она видит долгий сон, и в слабом, неуверенном воспоминании представляла другой мир, где все было ей понятно и не страшно. А сейчас она из боязни улыбалась всем людям и предметам, томимая своим онемевшим рассудком. Ей захотелось проснуться, она сделала резкое движение, она побежала, но сновидение шло вместе с нею и окостеневший разум ее не пробудился.

Роза вошла в чужой дом. Там была в горнице старая женщина, молившаяся на икону богоматери.

— А где Роза? — спросила Роза, она смутно желала увидеть самое себя живой и здоровой, не помня теперь, кто она сама.



— Какая тут тебе Роза? — сердито сказала старая хозяйка.

— Она Роза была, — с беспомощной кротостью произнесла Роза.

Старуха поглядела на гостью.

— Была, а теперь, стало быть, нету... У фашистов спроси твою Розу — там всему народу счет ведут, чтоб меньше его было.

— Ты сердитая, злая старуха! — здраво сказала Роза. — Роза живая была, а потом она в поле ушла и скоро уж вернется.

Старуха всмотрелась в нищую гостью и попросила ее:

— А ну, сядь, посиди со мной, дочка.

Роза покорно осталась; старуха подошла к ней и опробовала одежду на Розе.

— Эх ты, побирушка! — сказала она и заплакала, имея свое, другое горе, а Роза ей только напомнила о нем. Старуха раздела Розу, отмыла ее от тюремной грязи и перевязала раны, а потом обрядила ее, как невесту, в свое старое девичье платье, обула ее в прюнелевые башмаки и накормила чем могла.

Роза ничему не обрадовалась и к вечеру ушла из дома доброй старухи. Она пошла к выходу из города Рославля, но не могла найти ему конца и без рассудка ходила по улицам.

Ночью патруль отвел Розу в комендатуру. В комендатуре осведомились о Розе и наутро освободили ее, сняв с нее красивое платье и прюнелевые башмаки; взамен же ей дали надеть ветошь, что была на одной арестованной. Дознаться, кто одел и обул Розу, в комендатуре не могли — Роза была безответна.

На следующую ночь Розу опять привели в комендатуру. Теперь она была в пальто, с теплым платком на голове и посвежела лицом от воздуха и питания. В городе явно баловали и любили Розу оставшиеся люди, как героическую истину, привлекающую внимание к себе все обездоленные, павшие надеждой сердца.

Сама Роза об этом ничего не ведала, она хотела лишь уйти из города вдаль, в голубое небо, начинавшееся, как она видела, недалеко за городом. Там было чисто и просторно, там далеко видно, и та Роза, которую она с трудом и тоскою вспоминала, та Роза ходит в том краю, там она догонит ее, возьмет ее за руку, и та Роза уведет ее отсюда туда, где она была прежде, где у нее никогда не болела голова и не томилось сердце в разлуке с теми, кто есть на свете, но кого она сейчас забыла и не может узнать.

Роза просила прохожих увести ее в поле, она не помнила туда дорогу, но прохожие в ответ вели ее к себе, угощали, успокаивали и укладывали отдыхать. Роза слушалась всех, она исполняла просьбу каждого человека, а потом опять просила, чтоб ее проводили за руку в чистое поле, где просторно и далеко видно, как на небе.

Один маленький мальчик послушался Розы; он взял ее за руку и вывел в поле, на шоссе-ную дорогу. Далее Роза пошла одна. Дойдя до контрольного поста на дороге, где стояли двое немецких часовых, Роза остановилась возле них.

— Скорый Ганс, ты опять меня убьешь? — спросила Роза.

— Полудурка! — по-русски сказал один немец, а другой ударил ложем автомата Розу по спине.

Тогда Роза побежала от них прочь; она побежала в поле, заросшее бурьяном, и бежала долго. Немцы смотрели ей вслед и удивлялись, что так далеко ушла от них и все еще жива полудурка, — там был заминированный плацдарм. Потом они увидели мгновенное сияние, свет гибели полудурки Розы.

1943

## СЫН НАРОДА

Генерал, бывший прежде начальником подполковника Простых, может быть, лучше других знал своего офицера. Он сказал о нем: «Это вдохновенный человек, как бывают вдохновенные музыканты и поэты: бой для него есть творчество и творение его — победа; но он допускает иногда излишний риск и расширяет, так сказать, толкование Устава, а когда укоряешь его, то он отвечает, что в нашем Уставе крупнее всего написано одно слово — «победа», а все остальные слова написаны более мелким шрифтом, — вот какой был у меня Иван Иннокентьевич, но он хорошо дерется, шут его возьми, прямо одно наслаждение, выругаешь его, а простишь: как будто иногда и неправильно бывает, а все верно — фашисты от него умирают или бегут!»

Я поехал в полк Ивана Простых. Подполковник жил в избушке на краю деревни у многодетной вдовы. У подполковника была та обычная, и все же редкая, наружность, которая напоминает вам, что вы где-то уже видели это лицо и вам чем-то близок и дорог этот человек, хотя ничего вспомнить о нем невозможно. Может быть, вы никогда и не встречали его и не могли его знать, и лишь тайное родственное влечение вашей души к незнакомцу и ваше чувство симпатии к нему рисует на чужом лице знакомые черты... Подполковник на вид был человеком лет сорока, немного сумрачным, с темно-карими утонувшими подо лбом глазами, выражение которых не менялось от его настроения.

Познакомившись, я спросил у него, виделись ли мы когда-нибудь раньше. Он пронизательно поглядел на меня и ответил, что — нет, он меня не помнит; правда, был у него один лейтенант, похожий на меня, но тот убит еще под Кромами...

Моя дальнейшая жизнь в полку и знакомство с его командиром все более увеличивали мой интерес к этому офицеру. Есть люди, характер которых возможно приблизительно определить, и образ их делается сразу ясен. Но есть люди иные: вы уже знаете о таком человеке многое, однако они похожи на земное пространство — дойдя до одного горизонта, вы за ним видите следующий, еще более удаленный, и должны идти снова вперед... Такой человек в своем духовном образе подобен бесконечному русскому полю, и это свойство его означает, что вы встретились с развивающимся деятельным человеческим существом, непрерывно рождающим себя заново в новом опыте жизни.

Гвардейский полк Ивана Иннокентьевича Простых квартировал в двух смежных деревнях, где много было разрушенных пустых жилищ. Командир установил обычай в полку, чтобы его люди всегда жили не в общих избах, совместно с населением, а отдельно. В нежилых или осиротевших местах это было просто: строились землянки и блиндажи и ставились палатки, а в населенных пунктах дело было труднее. В тех деревнях, где полк квартировал сейчас, Простых приказал красноармейцам отремонтировать или привести в годное для жилья состояние поврежденные избы и затем поселил в них своих бойцов. Однако на таких тыловых постах подполковник совсем не желал, чтобы его солдаты жили с населением вовсе розно или чуждо. Он только хотел, чтобы его люди жили постоянно своим войсковым домом и чтобы их человеческое чувство удовлетворялось в задушевном боевом товариществе, в учении и службе, — в службе, усвоенной как страстный долг.

С населением солдаты Ивана Простых имели близость жизненного и серьезного значения. Сейчас, когда была пора весны, красноармейцы в свободное время копали в помощь хозяйкам огороды, ровняли навоз на грядках, чинили сельский инвентарь и убирали с проездов мусор от немецкого нашествия и мертвые остатки войны — колючую проволоку, снаряды и погоревшие машины, а девушки-санитарки брали в избы малых крестьянских детей, чтобы их матери спокойно работали в колхозном поле. Это вновь и вновь приучало людей, и красноармейцев и местных жителей, к простым житейским отношениям, к сознанию того, что все они — один

народ и дело их родственно. Когда полк Ивана Простых пойдет вперед, позади себя он оставит устроенные жилища, возделанную землю и доброе чувство в крестьянских сердцах.

Я спросил однажды у командира, не устают ли его люди от таких сельских работ, ведь у них есть свои прямые обязанности, требующие всех сил.

— Что ж такое, что они устают? — сказал Простых. — Солдат с усталостью не считается. Да и потом у меня своя есть главная забота! — резко добавил он. — Своя забота! Я здесь не блаженных телят воспитываю, а людей подвига, людей, творящих смерть врагу! А здесь народ два с лишним года был зачумлен немцами, пусть теперь он вспомнит своих людей и полюбит их еще больше, чем любил прежде...

Подполковник обычно весь день проводил в поле на строевых занятиях и учебных стрельбах. От каждого бойца он требовал такой отработки своего оружия — пулемета, миномета, винтовки, автомата и штыка, — чтобы человек владел им, не напрягая сознания. «В бою действуйте своим оружием, как сердцем, без натуги, привычно и свободно, — говорит Простых своим солдатам, — а сознание держите незанятым, чтобы следить за неприятелем, понимать его действия и делать ему смерть. Если же кого жмет оружие, как непригнанный сапог, кто чувствует на себе автомат, как постороннее тело, тот еще не воин».

В долгих беседах с бойцами, в проверке их знаний, после сдачи зачетных стрельб Иван Иннокентьевич внушал всем подчиненным, особенно же новому пополнению, одну «народную философию оружия», как он сам это называл. Подполковник считал неправильным разделение техники на мирные орудия труда и на военные орудия истребления. Он говорил, что нашему народу спокон веков и доныне одинаково нужны и полезны для жизни как серп, плуг, трактор, станок или жнейка, так равно и копье, штык, автомат, пулемет и пушка. Командир полка здраво полагал, что родственное соединение плуга и винтовки, станка и пулемета как равноценных орудий для поддержания жизни народов вернее всего зачнет в сердцах солдат любовь к оружию, а эта любовь явится лучшей матерью знания: тогда солдат охотно изучит оружие и умело будет владеть им в бою.

При мне он говорил в одной роте о кровном братстве рабочего, пахаря и бойца, плуга и винтовки.

— В мире есть злодейская сила, — сказал Простых солдатам. — Крестьянин возделает землю, токарь на станке создаст нужную вещь, но придет злодей, он убьет пахаря и рабочего, заберет себе их орудия труда — плуг и станок. Что толку в плуге и станке, если у человека отымается его жизнь. Поэтому без винтовки и плуг и станок не нужны. Поэтому для защиты родной земли нужны мы, солдаты. Я вам говорил о труженике, которого может убить злодей. Но если даже пахарь или рабочий останется в живых, то к чему тот хлеб или те вещи, что он наработал, если хлеб его пожрет враг либо заберет себе созданные его трудом вещи и только умножит этим свои силы.

Бойцы с доверчивым изумлением слушали командира: понятные слова его глубоко западали им в сознание, и в сердцах их утверждалось чувство высокого человеческого достоинства, достоинства советского солдата, которому доверено сберечь человечество от убийства. Не знаю, так ли точно понимали они своего командира, но, вероятно, они понимали его лучше и непосредственнее меня.

Возвращаясь однажды с поля пешком, мы с подполковником шли деревенскими огородами. Иван Иннокентьевич негромким, обычным своим голосом говорил страстные слова о смысле деятельности офицера. Он говорил о постижении тайны боя: он верил, что есть рациональные законы, управляющие процессом боя; и тот, кто умеет открыть их, владеет искусством постоянно побеждать. Законы боя очень сложны, это ясно понимал подполковник Простых; но он верил в их полную доступность для человеческого разума, потому что проверка на практике подтвердила истинность его некоторых теоретических открытий.

— Нет более сложного и оживленного явления во всей действительности, чем бой, — с тихой уверенностью говорил Иван Иннокентьевич.

Я подумал было, что Иван Иннокентьевич является офицером-ученым, технологом войны, для которого война представляет как бы научно-исследовательскую работу, а победа — истину. У нас есть такие офицеры; они воюют с рассудительной страстью и совершают большие дела, но у них есть свои недостатки, и не всякое дело для них посилено; я видел, например, одного такого сосредоточенного офицера на берегу Десны — он ожидал, пока ему для переправы соберут понтон; сосед же его, офицер других душевных и профессиональных свойств, переправился в это время со всей своей частью через Десну на всем, что было легче воды.

— Но когда ты все понимаешь, — произнес Иван Иннокентьевич, — ты еще далеко не всем обладаешь. В бою так именно и бывает. А нужно обладать, нужно иметь власть над врагом, только тогда ты прав. Дело еще остается, стало быть, за твоей волей, за твоей верой в знамя, которому ты служишь... А вера в свое знамя, в правду своего народа — это первое начало солдата. Без этой веры победить нельзя.

Мое представление о подполковнике лишь как об офицере-технике было разрушено. Он снова возвысился предо мной силой своей постоянно действующей, творческой мысли.

Вечером того же дня полк Ивана Простых выступил вперед и к исходу ночи занял свой участок на переднем крае. Теперь можно было увидеть красноармейцев Ивана Иннокентьевича в настоящем деле и оценить их командира.

Подполковник получил вначале простую задачу: сдерживать контратакующего неприятеля. Мощное и обильное противотанковое вооружение полка делало эту задачу нетрудной и посиленной. А раз так, то Иван Иннокентьевич размышлял сейчас лишь над тем, чтобы как можно экономней, в отношении крови своих людей, завершить бой. Он считал пехоту сильнейшим родом войск, потому что, сколь ни слаб огонь одного пехотинца, но каждым этим огнем управляет разум человека, и огонь его точен и губителен. Кроме того, пехота может бороться врукопашную, а это и венчает бой победой. Но главным искусством современной пехоты Иван Простых считал борьбу с танками. «Кто не умеет сжечь, изувечить танк, тот еще не солдат-пехотинец!» — говорил подполковник своим бойцам и старательно учил их технике сокрушения машин врага.

— Однако, — сказал мне, продолжая свою мысль, Иван Иннокентьевич, — можно знать свое оружие и все приемы, дабы наверняка остановить танк, и все же не сумеешь сделать это. Солдат должен иметь в себе внутреннее оружие — великую душу, сознающую свой долг, чтобы встретить несущуюся на него, бьющую в него огнем, стальную дробящую препятствия машину, — и ударить ее насмерть, сохраняя в себе разум и спокойствие, необходимые в бою. Это внутреннее оружие — душевное устройство — солдату дает лишь родина.

Перед боем люди не спали и занимались малыми, но необходимыми хозяйственными делами; они находились в том тихом, глубоком настроении духа, в котором пребывает человек накануне свершения важного жизненного дела. Красноармейцы чинили одежду, пригоняли обувь, чтобы нога ее не чувствовала, осматривали оружие и брили друг друга. Один боец хотел было переодеться в чистое белье, но его остановили. «Что ты, помирать, что ли, собрался, — обожди, боев еще много впереди, успеешь! — предупредили его более знающие солдаты. — Береги белье до победы: домой поедешь, тогда оно тебе сгодится».

Меж собой красноармейцы были дружны, и каждый охотно делал другому любую уступку и исполнял его желание. Солдаты знали по опыту, что скоро навсегда можно утратить того человека, которому ты сегодня отказал в чем-либо, и тогда, после гибели его, в тебе останется страдание совести, и ты будешь терзаться, что не помог тому, кто уже никогда не будет нуждаться в тебе и кто умер, чтобы ты мог жить.

Я пошел проведать Ивана Иннокентьевича. Он молча сидел в блиндаже, на командном пункте, вместе с начальником штаба полка. Подполковник был сосредоточен и молчалив. Может быть, нет более глубокой думы на земле, чем размышление командира перед сражением, в котором он должен скупиться на каждого своего солдата и быть щедрым на трупы врагов, — и в этом труде размышления, заранее переживающем бой, офицер

испытывает все силы своей совести и своих способностей, словно судит их Страшным судом перед лицом своего незримого народа...

— Важно, Иван Иннокентьевич, найти для противника непривычные условия, — произнес начальник штаба.

— Я думаю о них, и мы их найдем, — сказал подполковник. — Надо смутить его дух, потрясти его сердце. Все офицеры знают свое задание?

— Так точно. Все до одного. Я проверил. Подполковник поднялся, точно в предчувствии, и мы все услышали залп немецких батарей.

— Сколько видно танков? — спросил командир.

— Двенадцать в ходу, — доложил начальник штаба. Наши корпусные пушки начали издали рубить огнем артиллерийские батареи противника, и мы чувствовали по содроганию земли работу своих орудий. Подполковник позвонил в батальоны.

— Помните, — сказал он, — нам нужны сожженные, уничтоженные танки, на ремонт не оставлять ни одного!..

Противотанковое ружье сержанта Евелина и молодого бойца Проскурякова находилось на правом фланге второго батальона, примерно в центре расположения полка.

Сержант смотрел вперед из окопа. На него неслись два немецких танка. Евелин знал по опыту и по верным словам командира полка одну тайну боя: нужно стерпеть противника, пусть он шумит огнем, нужно выждать свой момент, чтобы сразу ударить по врагу на его поражение. Самое трудное — терпеть спокойно и думать здраво. Ближний бой выгоднее дальнего.

Проскуряков был безмолвен возле сержанта, лишь лицо его исказила замершая судорога страха, как онемевший крик. Евелин понимал состояние молодого солдата. «Ничего, обвыкнется», — кратко решал он в уме.

Танк набегал на них. «Не пора еще!» — соображал Евелин. С правого фланга расположения полка ударили гвардейские минометы, и поднебесье сумрачного весеннего утра засветилось бегущими огнями, как нива в цветах, взволнованная ветром. Минометы били по хвосту танков, где шла немецкая пехота. «Пора!» — Евелин выстрелил из противотанкового ружья, и танк сейчас же свернул в сторону, а потом перестал дышать мотором и остановился.

Но уже другой танк с живой свежей мощью шел на Евелина. Он выстрелил в него, однако танк продолжал движение, не почувствовав удара. Евелин взялся было за гранату и тут же оставил ее, потому что нужда в ней миновала. Проскуряков бросил в ходовую часть машины одну за другой две гранаты. Потом он управился еще метнуть одну гранату по первому неподвижному танку, и Евелин заметил в этот момент бледное, точно светящееся лицо Проскурякова и его упоенное выражение.

К этому моменту десять танков из всей группы были подбиты. Подполковник тогда приказал выйти одной роте вперед, использовать броню немецких танков как естественное укрытие и встретить оттуда немецкую пехоту точным ближним огнем.

— Для них это будет неожиданно, что мы оседлали их же неостывшие машины, — сказал Иван Иннокентьевич.

Но рота, посланная подполковником, работала мало: она встретила лишь редкую цепь неуверенно идущих вперед немецких солдат и прижала их огнем замятво к земле.

Вслед за тем бой точно остановился на мгновение, перевел дыхание, и все вдруг переменялось. Наша артиллерия тяжелых и средних калибров с внезапностью порыва ветра участила, удесятерила силу огня. Ревущий поток снарядов, как движущийся, бегущий навес, возник в небе над нашей пехотой, и далеко впереди нее встал вал сверкающего пламени и темная медленная туча праха над ним, — что было там живым, то умерщвлялось, что умерло — сокрушалось вторично. И тот вал, судя по блеску разрывов, медленно начал удаляться вперед, призывая за собой пешего солдата.

Красноармейцы, увидев расшвиравшуюся, радостную мощь своего огня, поднялись все в рост и пошли в атаку, исполненные восторга веры в непобедимость, и закричали от счастья, от гордости.

Я спросил у подполковника, что теперь дальше будет, какое у него задание.

— Идти вперед, — сказал Иван Иннокентьевич и увлеченно указал в сторону противника, обрабатываемого на его рубежах столь плотным огнем, что там уже более невозможно было никакое живое дыхание. — Вот великое творчество войны! Его создает высший офицер — наш народ, наш священный народ.

1944

## ЗЕМЛЯ

Раз родился на свете маленький мальчик. Он был так мал, что его мать могла держать его на ладони.

На другой же день он выучился смеяться. И мать его смеялась вместе с ним. Ей и самой было очень мало лет, рожала она в первый раз, и ее тело измучилось и обессилено. Но она обрадовалась ребенку, и ей стало весело и хорошо. Она не могла понять, как он мог родиться из нее, такой маленький, а живой. Весь свет будто переменился. Это окно и ветка за ним были вчера, когда его не было, не такими. Теперь ветка дрожит там от ветра и заводит хворостинку за хворостинку.

Мать была очень красива и добра, а ребенок был лучше ее. Это она знала, и от этого чуда ей было так хорошо, как никогда, даже любовь была хуже. Она не понимала того, но все равно так было. Из плохого само собой делается хорошее. Не противиться этому — лучшая радость, великое и родное счастье всех.

Мать держала маленького мальчика на руках и с тихим восторгом целовала его. От него пахло ее же телом. Она сжимала его, боялась уронить и плакала одна, когда он спал. Ночью она не спала и сторожила его, как бы кто не украл или не подменил. Глаза у мальчика были такие же, как у нее, как пламя двух свеч. Она была добра и родила его нечаянно от одного сторожа, который плакал, когда видел ее. Она над ним сжалилась и приласкала его. От своей светящейся, ликующей красоты ей самой трудно жилось. Всем она была нужна, каждый гнался за ней, жался и шептал тоскующие слова. Она всем улыбалась и отвечала и ничего сама не понимала. Какие бедные, несчастные, будто голые, — думала она и любила не одного, а всех.

Мальчик выучился смеяться, и мать оправились.

И пошли тихие годы, когда тело растет и так понятен мир и все люди похожи на траву, на дома и деревья.

Мать назвала его Иваном, и чем больше он рос, тем больше она отставала от него и уходила в свои дела. Красота ее потухала, от тяжелой, нудной работы сохла кровь и изнутри вырастали болезни.

В детстве нет счету времени. Утро от вечера в двух шагах. Год от году, как от ворот до плетня. В эти годы Ваня все понимал и для него не было невозможного. Ему было все лучше и лучше. Раньше он не верил, что за заставой есть что-то такое другое. Там канава, лопухи и небо.

Когда он выучился ходить, он увидел там поле и рожь, дорогу и телеги. Он не удивился, он знал это и, когда увидел, только вспомнил.

Пели птицы, Ваня слушал и знал, что и он умеет, только не хочет. Пугливая бабочка с красными крыльями низко трепетала над цветами. Ваня глядел и в эту минуту летал вместе с ней.

Нигде ничего ему не было чужого. Он мог делать, что делали все. Во сне он звонил в большой колокол и к нему бежали из поля люди. Он просыпался от страха и прижимался к уморенной, не чувшей ничего матери. В окне сидели две звезды, и по улице кто-то шел. Ване думалось, что он не видел, но что знал. Поля, поля и дороги. Все города и все люди живут в полях. Есть одни поля.

Ваня рос, и ему хотелось сделать, чего сделать нельзя. Было тесно и глухо кругом. С ребятами он водился, потом перестал. Он их понимал, а что раз понял, то ненужно. Ему захотелось того, чего не было.

Звезды идут от земли все выше, почему не ниже, — думал он. Ваня начал думать и выдумал две звезды, устроенные не так, как эта.

Ваня стал большой и прекрасный, как мать, и лучше ее. А мать умерла, чему он не поверил, и по-прежнему видел ее, говорил с ней и ночью чувял ее рядом с собой, как прежде. В окне светили две звезды, все было такое же, часы тикали, и мать никуда не могла деться. И Ваня успокоился.

Сосед столяр взял его к себе. И Ваня стал столяром. Потом поступил на постройку трубопрокатного завода. Когда его выстроили, он остался там и перешел в слесаря. На новой работе он был ближе к машинам, которые полюбил еще давно, когда в первый раз увидел паровоз. И у него была своя тайная любимая мысль о другой земле, которую можно сделать из этой.

## ИНЖЕНЕР

Назара Чагатаева тогда еще не было на свете. Его отец Иван Фирсович Чагатаев служил русским солдатом в хивинских экспедиционных войсках. Неграмотный и добрый, он притерпелся к чужой, скучной стране, но в первые годы службы ему приходилось трудно переживать свое сердце; ему приходилось плакать серыми маленькими слезами, которые скатывались по бурому лицу вниз на скудное сукно и затем, как небывалые, быстро высыхали.

На дальних и долгих постах ему никто не мешал, и солдат мирно горевал свое одинокое горе, глядя в безродную пустошь чужого мира. После, истощив свое чувство, солдат Чагатаев возвращался на отдых спокойным, а иногда даже веселым. В глинобитной казарме все же находились хоть и не родные, но равно несчастные люди. Каждый из них тосковал по своей губернии, думал о домашней нужде, возросшей там без него, и хотел лишь возвращения, чтобы разделить бедную участь своего семейства в далекой отсюда безвестной избе. На счастье, на хозяйский избыток надежды не было, но достаточно, чтобы нужда проживалась вместе, общей душой, и тогда наступает почти утешение. Горе страшно, если оно находится далеко невидимо или медленно приближается, но когда оно близко, когда его обнимаешь и вдавливаешь в него свои кости, оно не страшно и обыкновенно.

Солдатской службе Чагатаева шел уже пятый год. Скоро настанет пора уходить домой в Россию, в свою деревню, где земля и все предметы на ней пахнут так же, как его крестьянское тело — коровой, молоком, соломой, дымом, духом почвы, гниющей в ржаных корнях. Земное вещество, обратившись в человека, изменяется мало, и точно мучается в нем воспоминаньем о самом себе. По вечерам и по праздникам солдатам велели петь песни и рассказывать сказки, чтобы ум их не мог сосредоточиться на своей тоске, и душа уgomонилась в шуме и суеде ложного развлечения. Кругом в воздухе стояла жара чужого азиатского лета; счастливое солнце опускалось за дальние глины и пески, обещая на завтра лучший день жизни, а сегодня он прошел нечаянно и зря. В глиняном низком городе, где стояли солдаты, и в окрестностях его — по всему пространству — жили умолкшие люди, глядели темными глазами на русских солдат, которые сторожили их от кого-то, храня в себе разбитое домашнее сердце. Чагатаев уже привык к местному народу; он ему нравился своим непохожим на него загадочным лицом и добротой скрытой души.

За год до срока службы Чагатаева и еще пятерых солдат отправили сопровождать троих русских ученых, которые направлялись по делам своей науки в глубокие камыши, где Аму-Дарья впадает в Аральское море.

В конце апреля месяца русские ученые и солдаты прибыли в город Нукус, где назначено было окончательное снаряжение, чтобы идти далее в одиночестве по безлюдью среди жестких

растений, горячих болот. В Нукусе отряд дополнился двумя проводниками, один был каракалпак, а другой — туркмен в пожилых годах. Этот туркмен жил пленным рабом в хивинском царстве в течение одиннадцати лет; он все свое рабское время провел в камышах заглохшего староречья Аму-Дарьи, собирая там стебли для циновок, за которыми приезжал иногда другой раб со двора их общего господина. Бежать туркмен не мог, потому что почти непрерывно болел лихорадкой, а в свободное время от болезни ходил полубезумным от слабости и хотел смерти от скорби и слабости сил. Но жизнь все же продолжалась в нем, стучась в тупик его сердца, и он отзывался на нее тем, что говорил сам с собою, воображая свою славу, деятельность и богатство. В течение времени он привык чувствовать себя вдвоем. Этот другой человек, который жил в нем неразлучно, утешал его беседой, или спором, или бесшумной дружбой, и был похож на него, но все же существовал отдельно, и часто бывало, что спал и не отзывался. Тогда туркмен скучал о нем и бормотал все более настойчиво, пока снова не чувствовал себя вдвоем, и тогда смуглое лицо его, на котором была когда-то точная сухая красота, делалось ясным и человеческим.

Он пришел в Нукусе в научный отряд во время своего разговора с внутренним, тайным другом, и говорил непрерывно неполными словами невидимо с кем. Старший ученый, профессор Ченакин вслушался в бормотание туркмена, но не стал много думать о его душе, потому что на его месте он тоже был бы мертвым или безумным.

— Ты кто? — спросил туркмена Ченакин по-узбекски.

— Мы — Кочмат, — ответил человек.

— Ты знаешь хорошо Арал?

— В детстве мы жили в аду, — ответил Кочмат, — потом бежали на Арал — в камышовое царство, там меня схватили хивинцы и увели, а маленькая девочка, сестра Тохта-Ханым, осталась; теперь она больше не живет, один я ее помню...

Ученый Ченакин вслушивался в этот чуждый ему разум, который был ясен и прост для себя, но темен для других.

— А где ад, в котором ты родился?

— Там, в темноте, — показал Кочмат на запад и сказал что-то для самого себя: для друга, скрытого во внутренности сердца, который не оставит его, когда все эти люди отойдут и забудут его.

— А где темнота твоего детства? — спросил Ченакин, [скрывая] улыбку сожаления к нищему туземцу.

Кочмат ответил ему, что его детская страна лежит в черной тени, где пустыня кончается, — она опускает свою землю в глубокую впадину как на погребение, и Плоские горы, изглоданные ветром, загораживают то место от утреннего и полуденного солнца, покрывая родину Кочмата тьмою и тишиной, лишь свет вечера и заката доходит туда и освещает редкие травы на низкой, точно павшей земле.

— Твоя родина мне известна, — сказал Ченакин, — на нее падает тень Усть-Урта, на ад она не похожа.

— Ада нет, — сказал Ченакин.

— Нету, — ответил Кочмат.

В Нукусе отряд погрузился на большие каюки и отплыл в нижнюю дельту Аму-Дарьи, в озера и разливы. Одну ночь они заночевали у берега реки, а на другой день каюки достигли места, где Аму-Дарья расширилась, и тогда Ченакин велел свернуть в боковой проток. Каюки медленно пошли по тихой воде, обросшей камышовыми дебрями и речною травой, похожей на маленькие русские рощи. В отдалении, среди тех растений шевелились в нагретой воде разные невидимые существа; они, наверно, сидели до того неслышно, но напуганные движением лодок вскрикивали и, ожидая гибели, спешили поскорее размножиться и насладиться. Чагатаев знал эти звуки издавна, и теперь, слушая томительные слабые голоса из жаркой травы, сочувствовал всей бедной жизни, не сдающей своей последней радости. Иногда на камышовой вершине сидела разноцветная незнакомая птичка, она вертелась от внутреннего волнения, блестела перьями под живым солнцем и пела что-то сияющим тонким голосом.



На вечер каюки пристали к низкой сырой земле, покрытой лишь мелкой травой, как стриженной шерстью. Вдалеке на этой плоской земле стояли круглые хижины-кибитки, связанные из камыша. Мокро и нелюдимо было кругом, несмотря на небо, еще полное солнца, и синее легкое пространство, уходящее в Аральское море.

Профессор Ченакин сделал здесь долгую остановку и послал людей в ближайшую камышовую заросль, чтобы они нанесли камыша для топлива и постройки временной ночлежной хижины. Пока прибывшие люди ставили каюки на прочный прикол и разбирали вещи, никто не вышел сюда из камышовой деревни, не показалось даже ребенка, — может быть, там и не было никакой души. До полной ночи ученые, солдаты и оба проводника готовили камышовый шалаш и циновки на ночлег, потом зажгли костер для ужина и для того, чтоб комары не впивались в лицо.

Иван Чагатаев, как старший, поставил часового на ночь, ради безопасности, и улегся рядом с другими. Уже который год он занимался своим военным делом, польза которого ему самому была непонятна. Так и сейчас он бродит в безвестных удаленных местах, среди чужого несчастья, и душа не может утешиться даже чужой посторонней радостью от собственных трудов: себе-то уже все равно проку нет.

Чагатаев вздохнул протяжно по-бабьи во тьме камышового шалаша: вздох всегда ослабляет горькое сердце, а без силы оно не болит.

— На что жалуешься, старая служба? — спросил Ченакин, лежавший вблизи.

— Сознания мало, — сказал Чагатаев. — Лежу и думаю: зачем мы здесь находимся. Землю сызнава мерить будете, или — что, она все равно пустая.

## ТЕЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ

На окраине Тифлиса не очень давно, лет двадцать тому назад, стоял небольшой дом, построенный из глины и горного бросового камня — плитняка, внутри дома была одна комната с земляным полом, там сидела за деревянным столом молодая, грустная женщина и шила белую материю. На столе всегда — день и ночь — горела керосиновая лампа, потому что на лавке у стены лежала беспомощная, слепая старуха, мать белошвейки. Старуха глядела смутными, выморочными глазами на свет огня и чувствовала его, он ей нравился, как утешение, как брезжущий голос из темного мира. Дочь любила мать и тратила деньги на керосин за счет увеличения своего труда и экономии пищи. К ней никто не приходил в гости, и она не имела таких знакомых, которые любили бы и развлекали ее, и ей приходилось изредка улыбаться лишь про себя — неизвестно отчего: может быть, оттого, что сердце не терпит непрерывно печали и иногда способно выправляться и потягиваться само по себе. Женская и человеческая прелесть еще хранилась в ней, но утомление и жалобная нужда, как старость, уже затуманили ее лицо, и оно стало невидимым или неинтересным для всех людей.

Через два дня в третий белошвейка носила в город работу и брала материал; тогда она — во время пути — отдыхала, видела природу и прохожих, разные чужие вещи, высокие горы и воображала в душе чью-нибудь другую жизнь, непохожую на свою, чтобы быть счастливой в своем уме.

На дворе и в близкой окрестности от дома бегала и занималась ее дочь, одиннадцатилетняя девочка Тамара. Девочка жила всегда одна, как круглая сирота, потому что матери некогда было играть с нею; мать еле успевала работать, чтобы кормить дочь и старуху, она спешила шить так скоро, что забывала чувствовать свою любовь к дочери, хлеб ей казался важнее материнства.

Вечером Тамара возвращалась в комнату. Мать ей стелила на полу под лавкой, на которой лежала слепая бабка, и дочь засыпала. Всю ночь ей светила лампа в лицо, всю ночь в одном окне в Тифлисе горел свет, и молодая женщина шила бледными руками по белому, готовя платье

и украшение всем спящим и богатым. Кругом жилища близко находились Кавказские горы, точно остановившиеся на ночь. Днем же, во время солнца, казались удаляющимися; по ним было видно, как уходит свет и время.

Наутро Тамара съедала мучную лепешку с черным чаем, потом размачивала другую лепешку в блюде и кормила слепую старуху. Старуха, наевшись, снова глядела мертвыми глазами на горящую лампу и согревала лицо о ее слабый свет; она опять спала и умирала. Ее дочь весь день сидела одна около лампы и шила — иногда до полуночи, иногда до утра.

Тамара скрывалась по своим детским делам, но она там не веселилась, в одиннадцать лет она уже жила разумом всех бедных — воображением. Она видела игрушку в руках подруги и, не подходя к ней близко, думала втайне, что эта игрушка — ее и она уже держит ее в своих руках и наслаждается радостью. Если взрослая русская девушка ехала на велосипеде, Тамара считала, что тот велосипед также ее, и она, притаившись в закоулке, трогала руками воздух, где стоял ее велосипед. Она присваивала себе все, что ей нравилось в мире, что могло любить ее любопытное, скупое сердце, которое не могло жить пустым и постоянно должно быть занято собственностью. Однажды Тамара разглядела старую, брошенную картинку на чужом дворе, на той картине была нарисована красками небольшая гора, — гора стояла среди далекого вечера, покрытая жалким лесом, с какою-то избушкой на краю леса, и в той избушке уже зажгли ночной огонь. Тамара стала думать мечту, что она скоро будет жить в той избушке, это ее будет дом, и что вся гора с лесом — ее царство и страна, где ей станет хорошо.

Один раз слепая старуха сама закрыла глаза и попросила дочь, чтоб она потушила лампу и не жгла больше керосин. На дворе был летний полдень. Белошвейка пригасила лампу и подошла к матери.

— Поверни меня, — попросила старуха.

Дочь переложила мать лицом к стене, и старуха умерла.

Белошвейка потушила лампу и села снова шить, но заметила, что без лампы она отвыкла видеть: ее глаза слезились и мучились. Тогда она снова зажгла лампу, свет солнца в маленьком окне ей был больше не нужен.

Через полгода белошвейка купила вторую лампу — света одной лампы ей стало мало, но глаза ее все более теряли чувство, она слепла и работала сейчас только по случайным заказам. Магазины ей отказали, потому что она путала рисунок на шитье и не видела правильного размера.

Тамара ела теперь один раз в день, и не мучную лепешку, а кукурузную: что ей не хватало, то она доедала в траве, на которой росли под листьями мелкие пышки.

На ночь Тамара завязывала матери глаза платком, чтоб они не текли слезами, а сама начинала шить, но не умела и портила материал.

— Тамара, — говорила ей мать с завязанными глазами, — нам завтра нечего есть. Вылей из лампы керосин и пойди его продай.

— Не надо, — сказала Тамара. — Отдай меня лучше замуж. Муж меня будет кормить, я наемся, а остаток тебе принесу. Тогда мы опять будем живы.

Но мать не хотела отдавать Тамару замуж; она все еще шила, выходя с работой на солнце, потому что керосину для лампы покупать было не на что. Из глаз ее теперь шел гной, и она утирала его белым материалом. Тамара замывала потом зеленые пятна на драгоценных кофтах, но следы пятен все же оставались, и заказчицы перестали вовсе давать работу невидящей белошвейке.

Тамара в это время забывала воображать что-нибудь для счастья и покоя своего сердца, она жила несчастной и злой, занятая сбором съедобных пышек в траве. Их нужно было собрать несколько тысяч штук, чтобы дать матери и поесть немного самой, а то будет смерть.

Вскоре мать Тамары нашла ошупью палку на дворе и пошла по соседям. Она сказала им, что хочет выдать Тамару замуж: нет ли у них жениха на примете.

Вечером к Тамаре пришел старик, он поговорил с белошвейкой, а потом попробовал руками туловище девочки и согласился взять ее в жены. Он обещал прийти на другой день и принести невесте длинное платье, а потом будет свадьба.

Тамара проспала ночь, а утром убежала в подвал, где жила лиса и была ее нора. Тамара выгнала лису, а сама залезла в ее нору и целый день не выходила оттуда; она давно уже не росла от слабости и была худая, поэтому вся поместилась в норе, оставив наружу одни ноги. Мать и старый жених ходили, искали ее повсюду, пока старик не заметил, что по двору ходит бесприютная лиса и не знает, куда ей деться. Тогда он сказал белошвейке, почему ходит без места эта смиренная лиса. Мать Тамары поняла и научила старика, где искать Тамару, и вскоре старик вытащил девочку за ноги из лисьей норы. Тамаре показалось, что у старика нет подбородка; она от этого заплакала, потому что хотела за что-нибудь любить мужа в своем воображении и уже заранее считала его своей любимой вещью, как чужой велосипед, куклу и гору с избушкой на картинке.

С вечера белошвейка начала обрывать Тамару в длинное платье, принесенное стариком, пряча и закутывая ее тело ото всех навсегда, ради мужа, и велела ей плакать.

Но Тамара не знала, отчего ей плакать. Она думала, что завтра с утра ее начнет кормить муж, и уснула, воображая и придумывая, что значит любовь.

После свадьбы Тамара осталась одна в богатом доме мужа. Старик сам раздел свою жену и положил спать на большую постель. Затем он стал трогать ее и приговаривать нежные маленькие слова. Тамара молча смотрела на старика, удивляясь, что он дурак.

— Ты играешь в меня? Думаешь, что я твоя? — спросила Тамара.

— Играю, — сказал старик, — отчего ты такая глупая?

— Ниотчего. Я еще маленькая, не привыкла жить.

Мать Тамары жила отдельно, и старик не велел, чтобы она ходила в гости к дочери. Тамара каждый день носила ей тайно пищу, а когда муж узнал и обиделся, тогда Тамара поцарапала ему ночью шею, и он больше не обижался. Через год тело Тамары разрослось, в нем что-то шевелилось и стучало, — она думала, что скоро разорвется и умрет. Она плакала и боролась с невидимым страшным существом, которое завелось в норе ее тела и грызло его изнутри, сосало кровь и силу, не оставляя для Тамары ничего — ни чувства, ни сердца, ни мысли в уме. Иногда она была в злости и слабости кулаком по своему животу и говорила: «Выходи оттуда скорее, чертенок, а то я умру, и ты не успеешь жить!»

Среди одного дня ей стало вдруг трудно, точно у нее внутри сразу схватили все жилы и начали их вытягивать. Она выбежала на двор, в сад и стала кататься по траве, пока не забыла, что живет. Очнулась она среди людей, на постели, чувствуя себя хорошо и пусто, но скучно без привычного мучения. Ей сказали, что она родила двух девочек: одну — мертвую, другую — живую.

Тамаре было тогда тринадцать лет. С тех пор она стала играть со своей дочерью и ночью спала с ней рядом, а муж-старик из ревности, что его мало ласкает жена, бросил однажды в Тамару горящую лампу, но лампа ударилась о голову жены и потухла. По ночам, как ни кричал ребенок, прося сосать, Тамара не могла проснуться, пока девочка не подросла немного и не научилась впиваться матери руками в глаза, открывая ей спящие веки. Тогда Тамара просыпалась, кормила и целовала свою дочь: ей нравилось, что она тоже могла думать, и она удивлялась, что она живая. Днем Тамара уносила дочь к своим подругам-девочкам и там наряжала ребенка в тот предмет, в который шла игра: в куклу, в старушку, в мать или дочку. Ребенок и сам скоро привык ко всем играм и занимался наравне с матерью с общими подругами.

Мать Тамары по многим дням теперь сидела не евши, потому что ребенок иногда болел и Тамаре нельзя было отойти от него; в такое время Тамара откладывала со дня на день посещение матери, утешая себя, что старухи долго терпят без еды и умирают нескоро. Но мать Тамары не вытерпела, она взяла палку и пошла к дочери сама: шла она целых полдня и дойти не могла, — она заблудилась в переулках, попала в крапиву на чужом дворе, стала в ней биться, ослабела и пролежала в густой траве несколько дней; ее там нашли уже умершей.

Муж Тамары все время хотел, чтоб жена родила ему сына, и он раздражался, отчего она не починает нового ребенка. Думая, что это виновата жена, старик ее стал бить и наказывать. Дочь Тамары, тоже Тамара, научилась теперь понемногу разговаривать: она видела, как старик обижает ее старшую подругу, и советовала ей:

— Тамара, давай пойдем играть, а тут не будем. Ты сама говорила — дедушка сукин сын. Не надо тут жить.

Слово «мама» маленькая Тамара не говорила.

В одну ночь старик, изможденный немощью своей любви, в злостной и тщетной страсти ударил Тамару кинжалом в бедро, но кинжал был туп и твердому бедру ничего не сделалось. Наутро Тамара вынула деньги из комода, взяла девочку за руку и пошла на вокзал. Муж еще спал, душа его закатилась глубоко от истощения любовью, и поверхность тела была неподвижная и холодная, как у покойника.

Тамаре рассказывали другие девочки, что где-то есть Россия и туда можно уехать на поезде. Там женщины могут жить одиноко, никого не надо любить, никто ее не найдет и не узнает.

На вокзале Тамара попросила:

— Дайте билет в Россию.

Ей дали билет в Ростов, и она уехала с дочерью из Тифлиса.

В Ростове ей сказали, что Россия не здесь, а дальше. Тамара заплакала, что далеко ехать, но потом поехала дальше и приехала в Москву.

В 1918 году Тамара сошла в Москве, на Казанском вокзале: ей тогда было около шестнадцати лет, а маленькой Тамаре три года. По-русски Тамара ничего не знала, села на платформе и стала плакать. Она привыкла к этому способу разговаривать с людьми, когда жизнь была непонятна. Ее окружили люди, начали спрашивать и утешать — не ради нее самой, а соревнуясь друг перед другом своей добротой.

Тамару отдали работать на швейную фабрику, а ее девочку поместили в приют. В приюте когда давали есть, а когда нет. Маленькая Тамара если сильно хотела есть и боялась смерти, ходила в Москве по улицам и просила у милиционеров, чтоб они дали ей поесть. Некоторые милиционеры водили ее в столовые обедать, некоторые прогоняли прочь. В пять дней раз мать приходила в приют и просила дочь прожить как-нибудь; если же она умрет от голода, старшей Тамаре будет очень скучно.

Через два года маленькую Тамару стали учить грамоте, а мать ее стала мастером на швейной фабрике. Теперь голод уменьшился, старшая Тамара пополнела и стала опять расти, что не доросла в Тифлисе, а маленькая Тамара опухла и увеличилась вдвое.

Старшей Тамаре дали квартиру грузинского князя, и она взяла к себе дочь из приюта. Однажды к ней явился старик-муж: он разыскал ее постепенно, в долгое время. Тамара бросила в мужа кинжал грузинского князя, и старик убежал обратно.

Научившись грамоте, большая Тамара поступила в техникум, а маленькая в ФЗУ. Окончив эти школы, две Тамары вместе поступили в высшее техническое училище, только в разные: младшая хотела быть механиком, а старшая — текстильщицей — в память о матери и на пользу Родине.

В 1934 году обе Тамары стали инженерами; одной из них шел тридцать второй год, другой — двадцатый. Они были похожи друг на друга и красивы. Их женихи долго колебались в выборе, не приходя к решению и бесцельно утомляя свою душу. Младшая Тамара не помнила Тифлиса, не сознавала ничего из погасшей ранней памяти, она жила в одно будущее. Старшая же помнила все: она купила себе керосиновую лампу и изредка одна сидела перед нею. У нее еще было живо воображение — ум бедняков: и если разум обращался в будущее, то чувство могло возвращаться в прошлое, все более удаляющееся, жалкое, как свет лампы перед слепнувшими глазами.

## ЧЕРНОНОГАЯ ДЕВЧОНКА

— Если вспомните, кучер Селифан считал нужным отчитать Пелагею за смешение правого с левым, сказав ей: «Эх ты, черноногая... не знаешь, где право, где лево».

Доклад И. В. Сталина на Чрезвычайном VIII Всесоюзном Съезде Советов о проекте Конституции СССР.

Слепая мать Пелагеи не помнила белого света; она ослепла в полтора года от рождения после болезни кори. До полутора лет она видела свет, до ее нежного слуха доносился лай собак или стук бадьи о колодезный сруб из деревни Всячины, находившейся в нескольких километрах от жилища путевого сторожа, ее отца.

— Пелагея-то давно ушла? — спросил старик у дочери.

— Затемно еще, — ответила слепая. — Ты бы хоть керосин с вечера в фонарь добавлял, за ночь выгорает, у девочки сигнал потухнет...

Слепая умолкла и привстала со своего ложа на руках. Она расслышала далекое биение напряженной, мчащейся машины и слабое, но все более вздымающееся стенание рельсов навстречу бегущему паровозу.

— Отец, курьерский! — громко сказала дочь. — Пойди, проводи его, флаг у тебя под подушкой... Большой паровоз идет, сейчас мороз, ночью товарные, тяжелые поезда шли, рельсы могли лопнуть...

— Эва, пусть проходит, чума с ним, — произнес старик. — У внучки глаза поострей моих, а она ведь давишь в обход пошла. — Да теперь какие морозы, они жидкие стали — февраль месяц, рельсы целы останутся, не треснут.

Старик поджег солому в печи и задвинул туда чугунок с картошкой, предполагая сначала картошку сварить, а потом запечь, чтоб была вкусней и питательней....

Ночи касались синих сосновых лесов, шевелящихся в беспокойстве непогоды, мешающей им спать до весны. Девочка показала слепой женщине свет в избе и сказала:

— Мама, пойдем домой, к отцу, а то будет темно и кошка озябнет.

— Нет, — ответила ей мать, — отец больше не велел к нему ходить. Я теперь справку получила на инвалида категории, мы с тобой одни будем жить на мою слепую пенсию.

— А в нашем доме огонь горит — он смотрит на нас! — сказала дочь слепой. — Я есть хочу.

Слепая женщина была в недоумении; она слушала ветер и ночь своим нежным, точным слухом и размышляла о своем горе. Лицо ее было открыто, оно привыкло к холоду и терпению, глаза, прикрытые наполовину веками, казались не слепыми, но лишь опечаленными, — эта женщина была еще молода и красива, добро жизни и надежды не истощилось в ней.

Она велела дочери вести ее в семибратовский колхоз — там жил ее старый, теперь женившийся поводырь, вместе с которым она побиралась когда-то, еще будучи девушкой. Поводырь теперь женился и жил ничего: при хлебе, при семействе и денежную часть трудодней берег на сберкнижке.

— Ты помирись с отцом, — попросила девочка. — Он будет ругаться, а ты потом привыкнешь...

Но слепая отказалась возвращаться к мужу, и дочь повела ее ночевать к старому поводырю. Мать пообещала дочери купить юбочку, когда ей дадут пенсию — через пятнадцать дней, тогда девочка согласилась вести свою мать более охотно. Слепая время от времени пробовала свою новую пенсионную книжку, спрятанную в тряпицу под правую грудь, — она боялась ее потерять, потому что ей нечем будет жить и все люди тогда сразу станут немилыми и чужими. Но книжка была цела, слепая женщина непрерывно ее чувствовала, по книжке ведь ей полагается хлеб и покой на всю жизнь.

Девочка провела слепую мать лесом и вышла на двойную железнодорожную линию. До Семибратова оставалось еще километра два. При железной дороге стоял небольшой дом сторожа, чтобы беречь дорогу в здешних лесах; в доме горел сейчас свет, наверно, человек там не спал и дежурил.

— Постучи в окно, попроси хлеба пожевать! — сказала девочка матери.

— Я теперь пенсионерка, мне нельзя, это стыдно, — произнесла мать.

Однако дочь ее не ела почти целый день. Из города Креста они вышли в обед, а до обеда мать была на комиссии и получала пенсионную книжку. Денег ей бывший муж ничего не дал, только велел жить на слепую пенсию и дал справку о разводе и ее беспомощности. Еще он ей сказал, что его сердце умерло для нее, и когда он видит жену, слепую и неопрятную от ее темной души, то вся его кровь ожесточается; он давно уже живет в ласковых отношениях со счетоводом-барышней, и той барышне теперь настала пора войти в избу как хозяйке, а девочка-дочка пусть живет где хочет, если для нее ей новая мать будет непривычна. «Я привыкла, чтоб мать была слепая, а новая мать видеть будет!» — сказала отцу девочка и собралась с матерью в город Крест — становиться на пенсию. «Прощай, Дуся!» — сказал муж слепой жене. «Ты ведь меня и не видала никогда: ты света белого не помнишь!»

Слепая обняла мужа на разлуку: «Прощай, бедный мой... Мое сердце не умерло к тебе, но в нем стало теперь темно, как в моих глазах. Дочка Пелагея останется со мной, ты не требуй ее к себе, я ее сама прокормлю, — кто же меня, слепую, на дороге оборонит и за руку подержит!» Пелагея тогда взяла кошку, а мать справку о потере иждивения — и они вышли на дорогу в Крест.

Слепая чувствовала сейчас темную ночь, ветер зимы и озябшую руку Пелагеи. Женщина уже хотела вернуться в избу к прежнему мужу, но там наверно живет на ее месте барышня-счетовод, а чужое счастье стыдно смотреть. И слепая постучала в окно железнодорожного дома, чтобы покормить и согреть дочь. Оттуда вышел старый человек с сигнальным фонарем.

— Вы что тут? — спросил он.

— Мы слепые, — сказала мать Пелагеи. — Пусти, батюшка, погреться, нам хлеба не надо...

— Можно и хлеба с картошкой покушать, — произнес железнодорожный сторож, — мне добра не жалко. Ступайте в квартиру, а я путь пойду погляжу, я скоро ворочусь.

Слепая женщина и Пелагея вошли в жилище сторожа.

Там в горнице было чисто и аккуратно, печь была натоплена и пахло печеным хлебом. Пелагея вынула кошку из-за пазухи и пустила ее пожить на полу, а сама легла на лавку, головой к матери в колени, и уснула, потому что она истомилась за целый день жизни, который в детстве идет долго.

Сторож скоро вернулся с обхода; он был хотя и старый, но еще румяный и довольный. В молодости и в средние годы своего возраста он работал коридорным в московских гостиницах и провел жизнь не в тягости, а в суе, поэтому здоровье его не ушло. Он переложил спящую девочку в свою кровать под пологом и собрал на стол ужин — картошку, огурцы, миску гороха и два ломтя черного хлеба своей выпечки. Старик накормил слепую гостью и сам поел с нею, а потом постелил ей на лавке и сказал, чтоб она спала до утра, потому что ее дочка уже спит, на дворе ночь, — некуда и не время теперь идти слепому человеку. Слепая легла в чужом, теплом доме, и сердце ее, нежно и остро чувствующее жизнь, как свет, если бы она видала его, сердце ее смирилось, потемнело в покое, и она уснула.

Ночью путевой сторож проводил два скорых поезда и еще один курьерский и лег спать лишь после полуночи. Наутро, проснувшись, он увидел девочку Пелагею; она закрывала свою кошку в тряпку, обряжая ее в дорогу. Слепая женщина стояла у окна, думая о солнце, которого она не помнила, потому что ослепла в полтора года от рождения, а теперь ей стало уже тридцать пять лет. Но она не скучала о белом свете, ей достаточно было бы жить со счастливою душою даже в вечной тьме; однако душа ее была сейчас несчастна.

Путевой сторож оглядел своих гостей и сказал им:

— Куда вам ходить? Оставайтесь еще на сутки, я хлеб сейчас новый ставить буду, лепешек из теста спеку...

— Нам не надо, — ответила слепая. — Я пенсионерка, от государства хлебом кормлюсь.

— Нам не надо, — сказала Пелагея заодно с матерью. — Мы не бедные: мы книжку вчера получили, мы задаром будем жить.

— Вам видней, — произнес старик.

Слепая сказала «спасибо» и ушла со своей дочерью и кошкой, а сторож начал готовить тесто на хлеб, измазал себе руки и вытер их о бороду. И ему стало вдруг скучно, что ушла милостивая слепая женщина и больше он ее не увидит вовек, а ему необходим человек в избе: хоть за жалованье его бери к себе. Ходят к нему гости из ближних колхозов...

## ПОЭМА МЫСЛИ

На земле так тихо, что падают звезды. В своем сердце мы носим свою тоску и жажду невозможного. Сердце — это корень, из которого растет и растет человек, это обитель вечной надежды и влюбленности. Самое большое чудо — это то, что мы все еще живы, живы в холодной бездне, в черной пустынной яме, полной звезд и костров. В хаосе, где бьются планеты друг о друга, как барабаны, где взрываются солнца, где крутится вихрем пламенная пучина, мы еще веселее живем. Но все изменяется, все предается могучей работе. Вот мы сидим и думаем. Если бы вы были счастливы, вы не пришли бы сюда. Холодный пустынный ветер обнимает землю, и люди жмутся друг к другу; каждый шепчет другому про свое отчаяние и надежду, про свое сомнение, и другой слушает его как мертвец. Каждый узнает в другом свое сердце, и он слушает и слушает.

Если мир такой, какой он есть, это хорошо. И мы живем и радуемся, потому что душа человека всегда жених, ищущий свою невесту. Наша жизнь — всегда влюбленность, высокий пламенный цвет, которому мало влаги во всей вселенной. Но есть тайная сокровенная мысль, есть в нас глубокий колодезь. Мы там видим, что и эта жизнь, этот мир мог бы быть иным — лучшим и чудесным, чем есть. Есть бесконечность путей, а мы идем только по одному. Другие пути лежат пустынными и просторными, на них никого нет. Мы же идем смеющейся любящей толпой по одной случайной дороге. А есть другие, прямые и дальние дороги. И мы могли бы идти по ним. Вселенная могла бы быть иной, и человек мог бы повернуть ее на лучшую дорогу. Но этого нет и, может, не будет. От такой мысли захлопывается сердце и замораживается жизнь. Все могло бы быть иным, лучшим и высшим, и никогда не будет.

Почему же не может спастись мир, то есть перейти на иную дорогу; почему он так волнуется, изменяется, но стоит на месте? Потому что не может прийти к нему спаситель и, когда приходит, если придет, не сможет жить в этом мире, чтобы спасти его.

Но хочет ли мир своего спасения? Может, ему ничего не нужно, кроме себя, и он доволен, доволен, как положенный в гроб.

Но смотрите. Мы люди, мы часть этого белого света, и как мы томимся. Всегда едим и снова хотим есть. Любим, забываем и опять влюбляемся своей огненной кровью. Растет и томится былинка, загорается и тухнет звезда, рождается, смеется и умирает человек. Но это все видимость, обманчивое облако жизни.

Но вот когда жизнь напрягается до небес, наполняется до краев, доходит до своего предела, тогда она не хочет себя. Вечером тишина смертельна. Песня девушки и странника невыразима, душа человека не терпит себя. Небо днем серое, но ночью оно светится как дно колодца — и нельзя на него смотреть.

Великая жизнь не может быть длиннее мига. Жизнь — это вспышка восторга — и снова пучина, где перепутаны и открыты дороги во все концы бесконечности.

Мир тревожен, истомлен и гневен оттого, что взорвался и не потух после мига, после света, который осветил все глубины до дна, а тлеет и тлеет, горит и не горит и будет остывать всю вечность.

В этом одном его грех. После смертельной высоты жизни — любви и ясновидящей мысли — жизнь наполняется и сосуд ее должен быть опрокинут. Такой человек все полюбил и познал до последнего восторга, и его тело рвется пламенной силой восторга. Больше ему делать нечего.

Мир не живет, а тлеет. В этом его преступление и неискупимый грех. Ибо жизнь не должна быть длиннее мига, чем дальше жизнь, тем она тяжелее. Сейчас вселенная стоит на прямой дороге в ад. В траве и человеке гуще и гуще стелется безумие. Множатся тайны, и уже не пробивает их таран мысли. От муки чище и прекрасней лицо вселенной, молчаливей тишина по вечерам, но не хватает в сердце любви для них.

Зачем вспыхнуло солнце; и горит, и горит. Оно должно бы стать синим от пламени и не пережить мига.

Вселенная — пламенное мгновение, прорвавшееся и перестроившее хаос. Но сила вселенной — тогда сила, когда она сосредоточена в одном ударе.

<1920>

## НОВОГОДНЯЯ ФАНТАЗИЯ **ЖАЖДА НИЩЕГО** (ВИДЕНИЯ ИСТОРИИ)

Был какой-то очень дальний ясный, прозрачный век. В нем было спокойствие и тишина, будто вся жизнь изумленно застыла сама перед собой.

Был тихий век познания и света сияющей науки.

Тысячелетние царства инстинкта, страсти, чувства миновали давно. Теперь царствовал в мире самый юный царь — сознание, которое победило прошлое и пошло на завоевание грядущего.

Это был самый тихий век во вселенной: мысль ходила всюду неслышными волнами, она была первою силой, которая не гремела и не имела никакого вида.

Века похоронили древнее человечество чувств и красоты и родили человечество сознания и истины. Это уже не было человечество в виде системы личностей, это не был и коллектив спаявшихся людей самыми выгодными своими гранями один к другому, так что получилась одна цельная точная математическая фигура.

На земле, в том тихом веке сознания, жил кто-то Один, Большой Один, чьим отцом было коммунистическое человечество.

Большой Один не имел ни лица, никаких органов и никакого образа — он был как светящаяся, прозрачная, изумрудная, глубокая точка на самом дне вселенной — на земле. С виду он был очень мал, но почему-то был большой.

Это была сила сознания, окончательно выкристаллизовавшаяся чистая жизнь. Почти чистая, почти совершенная была эта жизнь горячей точки сознания, но не до конца. Потому что в ней был я — Пережиток.

В век ясности и тишины вылетел я из смрадного тысячелетия царства судьбы и стихийности и остался тенью на сияющем лике сознания; на образе Большого Одного.

Я был Пережиток, последняя соринка на круглых, замкнутых кругах совершенства и мирового конца.

Сознание, Большой Один превозмогал последние сопротивления природы и был близок к своему покою.

Большой Один кончал работу всех — камня, воды, травы, червя, человека и свою.



На пути к покою у Большого Одного оставался один только я — это было страшно и прекрасно.

Я был Пережиток, древний темный зов назад, мечущаяся злая сила, а Он был Большой и был Сознанием — самым светом, самую истиной, ибо когда сознание близко к покою, значит оно обладает истиной.

Но почему я, темная, безымянная сила, скрюченный палец воюющей страсти, почему я еще цел и не уничтожен мыслью?

Это было единственной тайной мира, другие давно сгорели в борьбе с сознанием.

Мне было страшно от тишины, я знал, что ничего не знаю и живу в том, кто знает все. И я кричал от ужаса каменным голосом, и по мне ходил какой-то забытый ветер, прохладный, как древнее утро в росе. Я мутил глубь сознания, но тот Большой, в котором я был, молчал и терпел. И мне становилось все страшнее и страшнее. Мне хотелось чего-то теплого, горячего и неизвестного, мне хотелось ощущения чего-нибудь родного, такого же, как я, который был бы не больше меня.

Мне хотелось грома, водопадов и жизни угрожаемой смертью, а тут была тишина и ясность, тишина и последняя упорная душа.

Я хотел гибели, скорой гибели, и еще больше хотел чего-нибудь темного и теплого, громкого и далекого. То, что было теперь, то было не больше того, что было при моей юности в древности.

И я начал погибать, потому что начал видеть дальние чудесные вещи, а разное шептанье и желанье теплоты во мне прекратилось.

Я увидел одно видение прошлого и стал другим от радости. Я увидел бой еще раннего слабого сознания с тайной. (Может, это мне показал Большой, в котором я был, — я не думал тогда о том. А я уже начал чуть думать! Стал плохим Пережитком.)

Еще были города, и в небе день и ночь из накаленных электромагнитных потоков горела звезда в память побед человечества над природой.

Моря были освещены до дна, и к центру земли ходили легкие машины с смеющимися детьми.

На северном полюсе горел до неба столб белого пламени в память электрификации мира.

Маленькие девочки тоже носили имена Электрификации, Искры, Волны, Энергии, Динамомашин, Атмосферы, Тайны.

А мальчики назывались Болтами, Электронами, Цилиндрами, Шкивами, Разрядами, Амперами, Токами, Градусами, Микронами.

Тот век тоже был тихий: только что была кончена страшная борьба за одну истину и настал перерыв во вражде человечества и природы. Но перерыв был сучением сил для нового удара по Тайнам.

Ученый коллектив с инженером Электронем в центре работал по общественному заданию над увеличением нагрузки материи током через внедрение его с поверхности вглубь молекул.

Человечество давно (и тогда уже) перестало спать и было почти бессмертным: смерть стала редким случайным явлением, и ей удивлялись, а умерших немедленно воскрешали. Организм беспрестанно возобновлялся в потребностях и работал без перерывов. У людей разрослась голова, а все тело стало похоже на былиночку и отмирало по частям за ненадобностью. Вся жизнь переходила в голову. Чувства и страсти еле дрожали, зато цвела мысль.

Но ничто не уничтожалось у этих людей: только переходило в сознание, снизу вверх. Они понимали любовь, красоту, страсть, всякую старую силу, всякую темную душу, но не жили сами этим, а только сознавали это. Жили же они мыслью, познанием.

Их сознание было соединением всех пережитков, хранилищем явлений прошлого, памятью обо всем, вдохновленной волей к бесконечному.

Эти люди жили тем, что отрывали кусочки у природы и складывали их в себя, составляли память, а память — это сущность сознания. Потом этой же памятью о прошлом они воевали за будущее, употребляли его как орудие, беспрестанно усиливавшееся благодаря напряжению и борьбе.

Сознание — это деятельная память. Так я увидел в том веке.

Ученые с инженером Электроном работали сплошным временем. Сам Электрон был слеп и нем — только думал. От думы же он и стал уродом.

Иногда легкая бескрылая машина уносила его на высокую башню — Атмосферный напор 101, где Электрон работал тоже над какой-то новой конструкцией.

Я заметил, что эти люди не поднимали никогда головы и не смеялись. На земле не было ни лесов, ни травы и перестали кричать звери. Одни машины выли всегда, и блестели глаза электричества.

Женщин было меньше мужчин, и любви между полами почти не было. Женщины гибли и от ожидания гибели становились спокойными и тихими, как звезды. Бессмертие их не касалось. Мужчины-инженеры не говорили об этой новой правде женщинам. И они не спрашивали, а молчали и ходили белыми видениями в синих залах горящих городов. Были времена решительных ударов, и женщина казалась всем насмешкой.

Времена стихали, и вселенная работала в тишине. Инженеры были все, а инженеры только думали, и в думе была вся жизнь. Все науки уравнились и свелись к технике.

Гремели машины, а люди все больше молчали. Росла голова, менело тело, и прекраснее были женщины от близости смерти.

Мир перестал шевелиться, двигаться, давать чем-нибудь знать о себе: всякое усилие, всякое явление природы переходило в машины прежде своего проявления в действии и там уже разряжалось, но не впустую, а производило работу. Реки не текли, ветры не дули, гроз и тепла давно не было — все умерло в машине и из машины приходило к людям в самой полезной, совершенной форме — пищей без остатков, кислородом, светом, теплом в количестве точной нормы.

Гром и движение вселенной прекратилось, но загремели машины за нее.

Раз инженер Электрон, когда был на башне Атмосферного напора 101, упал на маленькую машину, у которой долго стоял, и раскинул свои тонкие, слабые ручки-веточки. Маленькая машина завертелась, загудела сильнее самых больших, потом докрасна, добела накалилась и сгорела. Электрон стоял и по слепоте не видел, но махал ручонками и качал с боку на бок головой, будто от изумления, как моя бабушка в двадцатом веке, когда еще дули ветры и лились дожди.

Потом инженер Электрон открыл рот и запел, поборов немоту. В этой странной, забытой песне был гром артиллерии и свет надежды, как в песнях моего далекого мученического века. Это в нем пел его Пережиток.

Электрон полетел на бескрылой машине в ученый коллектив. На дороге ему встречались женщины и глядели долго вслед: они редко видели мужчин, и от этого у них загоралось старое семя любви.

Электрон дал миру сообщение волнами нервной энергии, вызывающей трепет сознания у всех людей:

«При нагрузке молекул материи однозначными электронами сверх предела, когда объем электронов становится больше объема молекулы, у нас завращался двигатель на Напоре 101. Двигатель от большого количества получаемой энергии сгорел при работе. Конструкцию его помним. Никаких электромагнитных потоков между исследуемой материей и двигателем не было. Есть новая поэтому форма энергии, неизвестная нам. Надо начать наступление на эту тайну».

Мир вздрогнул, как от удара по ране, от этого сообщения. Еще тише стали люди от дум, и машины заревели от великой работы.

Обнажился враг — Тайна.

И началось наступление. Между источником силы и приемником нет никакого влияния, а передача совершается. Какая же это сила?

Сознание не терпит неизвестности, оно открывает борьбу за сохранение истины.

Для успешности борьбы были уничтожены пережитки — женщины. (Они втайне влияли еще на самих инженеров и немного обессиливали их мысль чувством.)

Инженер Электрон стал впереди наступления. Тайна тяготила людей, как голод, и от нее можно потерять бессмертие и силу науки.

Электрон дал приказание по коллективу человечества от имени передовых отрядов наступающего сознания: «Через час все женщины должны быть уничтожены короткими разрядами. Невозможно эту тяжесть нести на такую гору. Мы упадем раньше победы».

Мир задумался. И тишина была страшнее боя, а рев машин, как древний водопад.

Скоро Электрон затрепетал опять ручонками-веточками и дал сообщение:

«Кончено. Материя стремится к уравниванию разнородности своего химического состава, к общему виду, единому веществу — к созданию материи одного простого химического знака. Уравнивающие силы пронизывают пространства от вещества большей химической напряженности к меньшей. Это было скрыто. При перегрузке молекул током создаются особо выгодные условия для такой взаимной уравнивающей передачи сил: их течет тогда особенно много. И заработавшая машина на Напоре 101 превратила эти химические силы в движение, чтобы освободиться от их избытка».

И опять мир стал искать тайн, а до времени успокоился. Из северного полюса бил белый столб пламени, и на небе горела электромагнитная звезда в знак всех побед.

Искусством в те века была логика полной чистой мысли, а наукой — это же самое, а жизнью — наука.

Жизнь перешла в сознание и уничтожила собою природу оттого, что были раньше люди, которые объявили весь мир врагом человечества и предсказали ему смерть от человека. И оттого, что сознание стало душой человека.

Или мир, или человечество. Такая была задача — и человечество решило кончить мир, чтобы начать себя от его конца, когда он останется одно, само с собой. Теперь это было близко — природы оставалось немного: несколько черных точек, остальное было человечество — сознание.

Мир можно полюбить, когда он станет человечеством, истиной, а вне нас — он худший враг, слепой несвязанный зверь. И ему был сказан конец.

Я снова очнулся Пережитком в глубокой, сияющей точке совершенного сознания, Большого Одного; перестал видеть, и во мне зашептали хрипучие голоса страсти, и родилось желание сладкой теплоты и пота. Моя сущность во мне выла и просила невозможного, и я дрожал от страха и истомы в изумрудной точке сознания, в глубине разрушенной вселенной. Теперь ничего нет: Большой Один да я. Моя погибель близка, и тогда сознание успокоится и станет так, как будто его нет, один пустой колодезь в бездну.

И я поднялся, и везде все засветилось, потому что я увидел, как кругом было хорошо и тихо, как в идущие века.

Я понял, что я больше Большого Одного; он уже все узнал, дошел до конца, до покоя, он полон, а я нищий в этом мире нищих, самый тихий и простой.

Я настолько ничтожен и пуст, что мне мало вселенной и даже полного сознания всей истины, чтобы наполниться до краев и окончиться. Нет ничего такого большого, чтобы уменьшило мое ничтожество, и я оттого больше всех. Во мне все человечество со всем своим грядущим и вся вселенная с своими тайнами, с Большим Одним.

И все это капля для моей жажды.

*Нищий*  
<1921>

## <ЧТОБЫ СТАТЬ ГЕНИЕМ БУДУЩЕГО...>

Чтобы стать гением будущего, надо быть академиком прошлого.

Чтобы чутая бурю, надо иметь в себе знание тишины.

Задача ученика — постичь учителя и вырасти выше его на одну голову.

Учитель — орудие ученика. Буржуазия — орудие обучения пролетариата.

Учитель всех — прошлое.

Прошлое — фундамент будущего. Отрицание его — дурость и мелководие.

Искусство — познание чувствами, оно есть логика чистого, абсолютного чувства.

Кто ничего не знает и не умеет думать, тот великий художник. А тот, кто ненавидит искусство, выше художника.

Прошлое — потенциальное будущее, как в минуте — все времена. Секунда — причина вечности.

В мире столько вещей, сколько концов в бесконечности, и каждая вещь ищет нашего познания.

Мы довольные, потому что можем делать, что захотим.

Кто придет раньше, кто придет позже, но все встретятся.

От родившегося ничего не требуется, кроме радости. Вселенная тянется к нам, а мы ее оттолкнем.

Все вещи смеются.

Душа мира — удивление.

Товарищ, нам пора перестать говорить: мы все понимаем.

Слово — знак бессилия, как и действие. Наша судьба — безмолвное знание. Но и через знание мы должны переступить.

Лучше всего быть ничем, тогда через тебя может протекать все. Пустота не имеет сопротивления, и вся вселенная — в пустоте.

Мы ищем возлюбленную — последнюю истину. Ее не надо ни искать, ни желать, тогда она придет сама.

Вечное отречение, быть нищим у нищих — это мы.

Если вселенная — невеста, поющая звезда, то мы выше ее — она вся в нас, и у нас еще осталось много места.

*Нищий*  
*<1921>*

## МОСКОВСКАЯ СКРИПКА

1

В город Москву шел отходник из колхоза «Победитель» Семен Сарториус. Он был человеком небольшого роста, с неточным широким лицом, похожим на сельскую местность, на котором находилось двусмысленное выражение — улыбка около рта и угрюмая сосредоточенность в неясных глазах. Его отцовская фамилия была не Сарториус, а Жуйборода, и мать крестьянка выносила его когда-то в своих внутренностях, рядом с теплым пережеванным ржаным хлебом. Вместо обычного сундучка и плотничьего инструмента Сарториус нес в руках футляр от скрипки, но внутри футляра, кроме холодных блинов и куска мяса, ничего не было.

Колхоз находился от Москвы почти в ста километрах и вблизи от железной дороги; однако Сарториус, дождавшись поезда, не сел на него: народу было много, около билетной кассы происходили ссоры, ему не хотелось портить сердца — своего и чужого, что надоело уже в истекших тысячелетиях.

Он пошел пешком среди окружающей природы: времени у него впереди много — лет сорок сплошной жизни; на дворе всей страны стоит хорошая погода, июль месяц. Сколько можно передумать мысли, вспомнить забытое, пережить неизвестное в течение своей пустой дороги, — движение ног и ветер всегда настраивают сознание в голове и развивают силу в сердце.

В Москве Сарториус явился в контору консерватории и предъявил там свою командировочную бумагу. В ней сообщалось, что Тишанский сельсовет совместно с правлением колхоза «Победитель» направляют тов. Семена Яковлевича Сарториуса на учебу; деньги за правоучебу, если они нужны, колхоз будет записывать на свой кредит и одновременно не оставит в нужде самого Сарториуса, то есть станет кормить его натурой до тех пор, пока требуется, равно и присылать деньги ему на снаряжение и текущие культурные удовольствия. Президиум сельсовета и правление колхоза просили отнестись к Сарториусу как к человеку дорогому для них, много раз решавшему игрой на скрипке трудные вопросы жизни, которые рассказать нельзя и если расскажешь — будет неутешительно. Однако скрипка его теперь похищена неизвестным врагом и находится не в руках, остался лишь футляр, а Сарториусу даны деньги на соответствующее приобретение. В случае порчи характера или убеждений Сарториуса — от влияния публичной жизни — просьба сообщить, чтобы средства общественного хозяйства не пошли для гибели хорошего человека.

В консерватории сказали Сарториусу, что нынче стоит лето, а прием будет осенью, поэтому придется ограничиться лишь предоставлением места в общежитии.

— Все это верно, но у меня терпенья нету, — сказал Сарториус. — Живешь-то ведь ежеминутно, когда же ждать!

— Ну как угодно, — сообщил служащий. — Писать вам ордер в общежитие, или как?

— Мало ли мне что угодно, — возразил недовольный Сарториус. — Мое общежитие — весь СССР.. Ждите меня к осени, там видно будет..

Оставив консерваторию, Сарториус пошел по магазинам искать себе новую скрипку. Он их пробовал на звук и на ощущение материала, но они ему что-то не нравились, ноты звучали, но не выходили из дерева в пространство.

Бродя по городу далее, Сарториус всюду замечал счастливые, тревожные или загадочные лица, и они ему казались прекрасными от предположения их души. Он думал, что дело музыки есть выражение чужой, разнообразной жизни, а не одной своей, — своей мало, личное тело слишком узко для помещения в нем предмета, представляющего вечный и всеобщий интерес, а не вечно жить — не надо. И Сарториус выбирал среди встречаемых людей, кем ему стать из них, чтобы узнать чужую тайну для музыки.

Воображение другой души, неизвестного ощущения нового тела на себе не оставляло его. Он думал о мыслях в другой голове, шагал не своей походкой и жадно радовался опустевшим и готовым сердцем. Молодость его туловища превращалась в жадное вождение ума.

Улыбающийся, скромный Ленин сторожил на площадях и улицах все открытые дороги свежего, социалистического мира, — жизнь простиралась в даль, из которой не возвращаются.

Одна милостивая девушка, с которой можно было бы прожить полжизни, посоветовала Сарториусу съездить на Крестовский рынок — там иногда выносят инструменты, она сама учится в музыкальном техникуме, только не по классу скрипки. Сарториус хотел несколько минут превратиться в ее мужа, но прежде поехал за скрипкой.

## 2

Крестовский рынок был полон торгующих нищих и тайных буржуев, в сухих страстях и в риске отчаяния добывающих свой хлеб. Нечистый воздух стоял над многолюдным собранием стоячих и бормочущих людей, — иные из них предлагали скудные товары, прижимая их руками к своей груди, другие хищно приценились к ним, щупая и удручаясь, рассчитывая на вечное

приобретение. Здесь продавали старую одежду покроя девятнадцатого века, пропитанную специальным порошком, сбереженную в десятилетиях на осторожном теле; здесь были шубы, прошедшие за время революции столько рук, что меридиан земного шара мал для измерения их пути между людьми. В толпе торговали еще и такими вещами, которые навсегда потеряли свое применение — вроде капоров с каких-то необычайных женщин, украшений от чаш для крещения детей, сюртуков усопших джентельменов, брелков на брюшную цепочку, урыльников доканализационного периода и прочего, — но эти вещи шли среди местного человечества не как необходимость, а как валюта жесткого качественного расчета. Кроме того, продавались носильные предметы недавно умерших людей, — смерть существовала, — и мелкое детское белье, заготовленное для зачатых младенцев, но потом мать, видимо, передумывала рожать и делала аборт, а это оплаканное мелкое белье нерожденного продавала вместе с заранее купленной погребушкой.

В специальном ряду продавали оригинальные портреты в красках и художественные репродукции. На портретах изображались давно погибшие мещане и женихи с невестами из уездного окружения Москвы; который из них наслаждался собою, судя по лицу, и выражал удовлетворение происходящей с ним жизнью: он гордился ею как заслуженной медалью. Позади фигур иногда виднелась церковь в природе и росли дубы давно минувшего лета. Одна картина была особо велика размером и висела на двух воткнутых в землю жердинах. На картине был представлен мужик или купец, небедный, но нечистый и босой. Он стоял на деревянном худом крыльце и глядел с высоты вниз. Рубаху его поддувал ветер, в обжитой мелкой бороде находились сор и солома, он глядел куда-то равнодушно в нелюдимый свет, где бледное солнце не то вставало, не то садилось. Позади того мужика стоял большой дом безродного вида, в котором хранились, наверно, банки с вареньем, несколько пудов пирогов с грибами и была деревянная кровать, приспособленная почти для вечного сна. Пожилая баба сидела в застекленной надворной пристройке — видна была только одна голова ее — и с выраженьем дуры глядела в порожнее место на дворе. Мужик ее только что очнулся от сна, а теперь вышел опростаться и проверить — не случилось ли чего особенного, — но все оставалось постоянным, дул ветер с немилых, ободранных полей, и человек сейчас снова отправится на покой — спать и не видеть снов, чтоб уж скорее прожить жизнь без памяти.

...Сарториус долго стоял в наблюдении этих прошлых людей. Теперь их надмогильными камнями вымостили тротуары новых городов и третье или четвертое поколение топчет где-нибудь надписи: «Здесь погребено тело московского купца 2-й гильдии Петра Никодимовича Самофалова, полной жизни его было ... Помяни мя Господи во царствии Твоем». «Здесь покоится прах девицы Анны Васильевны Стрижевой ... Нам плакать и страдать, а ей на Господа взирать».

...Вместо Бога, сейчас вспомнив умерших, Сарториус содрогнулся от страха жить среди них, — в том времени, когда не сводили темных лесов, когда убогое сердце было вечно верным одинокому чувству, в знакомстве состояла лишь родня и мировоззрение было волшебным и терпеливым, а ум скучал и человек плакал при керосиновой лампе или, все равно, в светящий полдень лета — в обширной, шумящей ветром и травой природе; когда жалкая девушка, преданная, верная, обнимала дерево от своей тоски, глупая и милая, забытая теперь без звука, ее больше нет и не будет, и не надо ей быть.

Далее продавали скульптуры, чашки, тарелки, таганы, части от какой-то балюстрады, гирию в двенадцать старых пудов, чугунную плиту, раскопанную здесь же на месте, так что показывался только один ее край, а остальное было под землею и неизвестно; рядом сидели на корточках последние частные москательщики, уволенные разложившиеся слесаря загоняли свои домашние тиски, дровяные колуны, молотки, горсть гвоздей, — еще далее простирались сапожники, делающие работу в момент и на месте, и пищевые старухи с холодными блинами, с пирожками, начиненными мясными отходами, с сальниками, согретыми в чугунных горшках под ватными пиджаками покойных мужей-стариков, с кусками пшенной каши и всем, что утоляет

голодное страдание местной публики, могущей есть всякое добро, которое только бы глоталось, а более ничего.

Незначительные воры ходили между нуждающимися и продающими, они хватали из рук ситец, старые валенки, булки, одну калашу и убегали в дебри бродящих тел, чтобы заработать полтинник или рубль на каждом похищении. В сущности они с трудом оправдывали ставку чернорабочего, а изнемогали больше.

В глубине базара иногда раздавались возгласы отчаяния, однако никто не бросался туда на помощь, и вблизи чужого бедствия люди торговали и покупали, потому что их собственное горе требовало неотложного утешения. Одного слабого человека, одетого в старосолдатскую шинель, торговка булками загнала в лужу около отхожего места и стегала его по лицу тряпкой; на помощь торговке появился кочующий хулиган и сразу разбил в кровь лицо ослабевшего человека, свалившегося под отхожий забор. Он не издал крика и не тронул своего поврежденного лица, а спешно съедал сухую похищенную булку, с трудом размалывая ее сгнившими зубами, и вскоре управился с этим делом. Хулиган дал ему еще один удар в голову, и раненый едок, вскочив с энергией силы, непонятной при его молчаливой кротости, исчез в гуще народа, как в колосьях ржи. Он найдет себе пищу повсюду и будет долго жить без средств и без счастья, но зато часто наедаясь.

Один мужчина неясного вида стоял почти неподвижно, раскачиваемый лишь ближней суетою. Сарториус заметил его уже во второй раз и подошел к нему.

— Хлебные карточки, — произнес сам про себя тот неподвижный мужчина.

— Сколько стоит? — спросил Сарториус.

— Двадцать пять рублей пятая категория.

— Ну давай одну штуку, — попросил Сарториус, пожелавший истратить деньги на что-нибудь.

Торгующий осторожно вынул из бокового кармана конверт с напечатанной надписью на нем: «Полная программа Механобра». Внутри программы была заложена заборная карточка. Тот же торговец предложил Сарториусу подыскать заодно и скрипку, но Сарториус приобрел себе скрипку позже — у человека, покупавшего червей для рыбной ловли в обмен на свой инструмент и ворчавшего на всех прохожих, как на врагов государства.

Перед покупкой Сарториус захотел попробовать скрипку, но тесные люди все время мешали ему: тогда он поднялся в будку милиционера, — милиционер посторонился и дал место музыканту. С высоты этой надстройки Сарториус начал играть; его никто не слушал внизу: здесь давно привыкли ко всем человеческим фактам, а музыка не могла проникнуть в каждое вопиющее сердце, загроможденное собственной заботой. Но эта случайная скрипка играла хорошо. Она была построена из темного матерьяла, тяжелее дерева, на вид грубовата и сама делала звук благородней и задушевней, чем мог музыкант. Сарториус слушал ее пение сам, как посторонний слушатель, и удивлялся, что весь громадный окружающий воздух содрогается от слабого трения смычка, а люди не обращают внимания. Он посоветовался затем на этот счет с милиционером, и тот объяснил ему:

— Чего ты хочешь — здесь бродит последний буржуазный элемент, отвели ему место в буржуазной загородке и он тоскует тут один.

— Он погибает, — сказал Сарториус.

— А что ж ему делать: кто вор, кто нищий, кто торгует. У него своя душа, доживет и умрет.

— А отчего они не работают? — спросил Сарториус.

— Как тебе сказать! — Милиционер всмотрелся в глубь толпы. — Один тебе от слова переменится, другой от наказания, — те уж давно людьми живут. А иной только смерти послушается, так что ему, чтоб стать человеком, надо бы жить раза два подряд, — это вот здешние... Здесь скучное место, гражданин, — ступай теперь по своим делам, не мешай заниматься наружным наблюдением...

Сарториус, согнувшись от уныния, навсегда покинул Крестовский рынок. Этого места тоже скоро не будет, как нет девицы Анны Васильевны Стрижевой, как умер нечистый и босой купец, смотревший с крыльца в нелюдимый обдутый непогодой свет.

### 3

С тех пор Сарториус стал жить в Москве. Само многолюдство уже возбуждало его силу, он шел среди людей, как в оболщениии, и чувствовал их тело, издающее тепло.

До поздней ночи Сарториус не думал о приюте и ходил со скрипкой параллельно общему движению среди света, чистоты и тепла. Он чувствовал, что погибнуть здесь, остаться без внимания, пищи и признания невозможно, если внутри его нет вражды к народу. И он действительно не оставался без участия. В первую же свою московскую ночь Сарториус попал ночевать к одной трамвайной кондукторше.

Он познакомился с ней случайно... Когда наступил второй час ночи и трамваи на большой скорости спешили в парк, Сарториус сел в такой трамвай и с интересом оглядел его пустынное помещение, точно тысячи людей, бывших здесь днем, оставили свое дыхание и лучшее чувство на пустых местах. Сарториус повторил свое путешествие и проехал в нескольких вагонах по разным направлениям. Кондукторша, иногда старая, иногда молодая, милая и сонная, сидела в этот час в вагоне одна и дергала бичеву на безлюдных остановках, чтобы скорее кончался последний маршрут. Сарториус подходил к кондукторше и заговаривал с ней о постороннем, не имеющем отношения ко всей окружающей видимой действительности, но зато кондукторша начинала, очевидно, чувствовать в себе невидимое. Одна кондукторша с прицепного вагона согласилась на слова Сарториуса, и он обнял ее на ходу, а потом они перешли в задний тамбур, где видно более смутно, и неслись в поцелуях три остановки, пока их не заметил какой-то человек с бульвара и не закричал им «ура».

С тех пор Сарториус изредка повторял свое знакомство с ночными кондукторшами, — иногда удачно, но чаще всего нет. Кондукторша первой ночи пригласила его ночевать, когда он сказал, что хочет спать, и положила его рядом со своей бабушкой на широкую старинную кровать, где он хорошо выспался.

На другой вечер Сарториус вышел на бульвар, где стоит памятник Пушкину. Он оставил футляр внизу и вошел на подножие памятника, на высоту всех его ступеней. Оттуда он сыграл, воображая себя перед всей Москвой, свое любимое сочинение о воробье — о том, как воробей полетел за простым зерном куда-то недалеко и там наелся среди многочисленных животных. Но скрипка разыгралась почти сама, скрипач осторожно последовал за ее усложняющейся мелодией, — музыкальная тема расширилась и судьба воробья переменилась. Он не долетел до ближней пищи: стихия ветра схватила его и понесла вдаль, в ужас, и воробей окоченел от скорости своего полета, но он встретил ночь, — темнота скрыла от него высоту и пространство, он согрелся, уснул, сжался во сне в мелкий комок и упал вниз, в рощу на мягкую ветку, проснулся в тишине, на заре незнакомого дня, среди ликующих неизвестных ему птиц. Музыканта заслушались прохожие, в его футляр на земле потекла почти непрерывная зарплата; Сарториус застыдился и не знал, что ему делать с деньгами, точно он не нищий.

Молодая метростроевка, по-бабьи расставив ноги и пригорюнившись, слушала Сарториуса недалеко от него. Она была в мужской прозодежде, лишь обнажавшей ее женскую натуру, умна и прелестна черноволосым лицом; ясность сердца блестела в ее взгляде, следы глины и машинного масла от подземной работы не портили ее тела, а украшали, как знак чести и непорочности.

Во время игры музыкант глядел на девушку-метростроевку равнодушно и без внимания, не привлекаемый никакой ее прелестью: как артист, он всегда чувствовал в своей душе еще более лучшую и мужественную прелесть, тянущую волю вперед мимо обычного наслаждения. Под конец игры из глаз Сарториуса вышли слезы — ему самому понравилась музыка и он растрогался, но многие слушатели его улыбались, а метростроевка вовсе смеялась.



Сарториус спустился с памятника и со злобой обратился к этой метростроевке:

— Эх ты, публика! Мыслить еще не умеет, а уже смеется над чувством.

— Это играете не вы, вы так не умеете, — ответила метростроевка. — Я знаю эту скрипку, на ней и я сумею играть...

— Не жалким таким девчонкам судить, хорошеньким на одну морду, — оценил ее Сарториус. — У меня, может, весь Советский Союз шевелится в уме...

— Ах, вы — так, — загадочно произнесла метростроевка. — Вам кажется, что вы знаменитый музыкант, значит, вы скучный дурак...

Она ушла от него по своим делам, а он пошел за нею и следил за нею до ее жилища, пока она не скрылась в нем. Тогда Сарториус сел на какой-то трамвай и уехал на нем далеко за город. Там он ходил и мучился, сидел около ржаного поля, играл в безмолвии и уединении на скрипке и не умел понять способа ее устройства: почему она от его игры разыгрывается затем сама и не вполне слушается его. Он не знал физики и техники, он мог только чувствовать одни душевные страсти и тревожный, напряженный ход человеческого сердца, а это не принадлежит к твердым телам; скрипка же вполне жестка и очевидна. Удаленная Москва нежно гудела как большая музыка; ее электрическое зарево небосклон отражал обратно на землю — и уже самый бедный свет заходил до здешней ржаной нивы и он лежал на ее колосьях как ранняя, неверная заря. Но была еще поздняя ночь. Сарториус с вождением слушал дальнюю Москву, смотрел на небесную электрическую зарю и думал, что все это тайная музыка, и снова пускал в ход свою скрипку, слушая, как собирается вокруг нее все, что кажется немым и диким, и вторит неискусной игре девственными, спекшимися устами.

#### 4

Метростроевская работница Лида Осипова, слушавшая игру Сарториуса у памятника Пушкину, жила на пятом этаже нового дома, в двух небольших комнатах. В этом доме жили летчики, конструкторы, различные инженеры, философы, экономические теоретики и прочие профессии. Окна ее квартиры выходили вверх окрестных московских крыш, и часто бывало, что Лида, вернувшись после смены и вымывшись, ложилась животом на подоконник. Волосы ее свисали вниз, и она слушала, как шумит всемирный город в своей торжественной энергии и раздается иногда смеющийся голос человека из гулкой тесноты бегущих механизмов. Подняв голову, Лида видела, как восходит пустая неимущая луна на погасшее небо, и чувствовала в себе согревающее течение жизни... Ее воображение работало непрерывно и еще никогда не уставало, — она чувствовала в уме происхождение различных дел и мысленно принимала в них участие; в одиночестве она наполняла весь мир своим вниманием и следила за огнем фонарей, чтоб они светили, и думала о машинах, день и ночь напрягающихся в своей силе, чтоб горел свет в темноте, шло чтение книг, молотилась рожь моторами для утреннего хлебопечения, чтоб нагнеталась вода по трубам в теплые души танцевальных зал и происходило зачатие лучшей жизни в горячих и крепких объятьях людей — во мраке, уединении, не видя своих лиц, в чистом чувстве объединенного счастья, — чтоб, наконец, — сиял огнем и блестел радостью город ее юности, мировая столица человеческого труда, ума и человечности. Лиде Осиповой не столько хотелось переживать самой эту жизнь и наслаждаться, сколько обеспечивать ее успех, — круглые сутки стоять у тормозного крана паровоза, везя людей навстречу друг другу, чинить трубу водопровода, ездить на катке, прессуя новый асфальт, вешать лекарства больным на аналитических весах — и потухнуть вовремя лампой над чужим поцелуем, вбрызнув в себя то тепло, которое только что было светом. Свои интересы при этом она не отвергала — ей тоже надо было девать куда-нибудь свое большое тело, — она их лишь откладывала до более дальнего будущего: она была терпелива и могла ожидать.

Когда Лида свешивалась из своего окна в эти вечера одиночества, ей кричали снизу приветствия прохожие люди, они звали ее с собою в общий летний сумрак, ей обещали показать

все аттракционы парка культуры и отдыха и купить цветов и два торта. Лида смеялась им, но молчала и не шла.

Позже Лида видела сверху, как начинали населяться окрестные крыши домов: через чердаки на железные кровли выходили семьи, стелили одеяла и ложились спать на воздухе, помещая детей между матерью и отцом; в ущельях же крыш, где-нибудь между пожарным лазом и трубой, уединялись женихи с невестами и до утра не закрывали глаз, находясь ниже звезд и выше многолюдства.

После полуночи почти все видимые окна переставали светиться, — дневной ударный труд требовал глубокого забвения во сне, и с шепотом шин, не беспокоя лишними сигналами, проходили поздние автомобили. Лишь изредка потухшие окна снова освещались на короткое время — это приходили люди с ночных смен, ели что-нибудь, не будя спящих, и сразу ложились спать; другие же, выспавшись, вставали уходить на работу — машинисты турбин и паровозов, радиотехники, бортмеханики утренних рейсов, научные исследователи и прочие отдохнувшие.

Дверь в свою квартиру Лида Осипова часто забывала закрывать. Однажды она застала незнакомого человека, спящего вниз лицом на полу на своей верхней одежде. Лида подождала, пока он повернется лицом, и тогда узнала в нем музыканта, игравшего около Пушкина. Сарториус пришел сюда без спроса, а скрипку спрятал в уборной. Проснувшись, он сказал, что хочет у нее пожить, — здесь просторно и ему нравится. Лида Осипова не решилась отдалять его из-за бедности в жилищах и своего права на дополнительную площадь, — она промолчала и дала жильцу подушку и одеяло. Сарториус стал жить; по ночам он вставал и подходил на цыпочках к спящей Лиде, чтобы укрыть ее одеялом, потому что она ворочалась, раскрывалась и прозябала. Через несколько дней жизни в квартире Осиповой скрипач уже укреплял каблуки на стоптанных выходных туфлях Лиды, втайне чистил ее осеннее пальто от приставшего праха и согревал чай, с радостью ожидая пробуждения хозяйки. Лида сначала ругала скрипача за подхалимство, а потом, чтоб избежать такое рабство, ввела со своим жильцом хозрасчет — стала штопать ему носки и даже брить его щетину по лицу безопасной бритвой.

Когда же Лида уходила на работу, Сарториус тихо начинал играть на скрипке, стараясь вникнуть в ее волшебное устройство. Но скрипка была на вид обыкновенная и дешевая, однако на ее звуки отзывались оконные стекла, стены, мебель, люстры, пустой воздух — и пели вместе, как оркестр. При Лиде же Сарториус играть боялся.

Сарториус ни разу не осмелился спросить у нее про тайну своего инструмента и что означают ее насмешливые слова у памятника. Все же Сарториус понял, что истину новой музыки, поющей о любом мертвом веществе как живое чувство, он может узнать у этой черноволосой девушки, а больше некуда обратиться. И за этим он явился к ней жить и стараться во всем любить ее.

Вскоре Сарториус узнал, что Лида Осипова работает техником по буровому делу.

В одну ночь, когда он ее, как обычно, укрывал во сне, он услышал ее счастливый смех и она прошептала неясные слова: «Милый мой, мне скучно без тебя».

Сарториус тут же спросил ее:

— А чья это скрипка, милая моя...

Лида открыла глаза:

— А что?

— Ну стало быть, нужно. — Но обнять ее сразу Сарториус испугался.

— Что тебе нужно? — опомнилась Лида. — Завтра скажу. — И уснула дальше.

Утром она сказала Сарториусу, что сегодня вечером будет бал и пусть он идет туда вместе со скрипкой: неужели ему не надоест жить лодырем до самой осени.

— А чья это скрипка, милая моя? — спросил Сарториус. — Скажи, пожалуйста.

Лида медленно оглядела скрипача.

— Какая милая?.. Это что за новость?.. Скрипка эта сделана из отходов в лаборатории моего жениха — и для него я милая: вам понятно?

- Понятно, — сказал Сарториус, — я ведь не такой уж мещанин. Я человек особенный.  
— Оно и видно, — произнесла Лида без внимания и без обиды.

5

Вечером в районном клубе комсомола собрались молодые ученые, инженеры, летчики, врачи, педагоги, артисты и знаменитые рабочие новых заводов. Никому из них не было более двадцати семи или тридцати лет, но каждый уже стал известен по всей своей родине — в новом мире, и каждому было немного стыдно от ранней славы, и это мешало жить и покрывало лицо излишним возбуждением. Пожилые работники клуба, упустившие свою жизнь и талант в неудачное буржуазное время, с тайными вздохами внутреннего оскудения, привели в порядок мебельное убранство в двух залах — в одном для заседания, в другом для беседы и угощения. Одним из первых пришел двадцатичетырехлетний инженер Полуваров с комсомолкой Кузьминой, пианисткой, постоянно задумчивой.

— Пойдем, жевнем чего-нибудь, — сказал ей Полуваров.

— Жевнем, — по-женски покорно согласилась Кузьмина.

Они пошли в буфет; там Полуваров съел сразу восемь бутербродов с колбасой, а Кузьмина взяла себе только два пирожных, она жила для игры, для музыки.

— Полуваров, почему ты ешь так много? — спросила Кузьмина. — Это, может, хорошо, но на тебя стыдно смотреть.

Вскоре пришли сразу десять человек: путешественник Головач, механик Гаусман, две девушки подруги — обе гидравлики — с канала Москва-Волга, метеоролог авиаслужбы Вечкин, конструктор высотных моторов Мульдбауэр, электротехник Гунькин с женой, — но за ним опять послышались люди и еще пришли некоторые, и среди них — Лида Осипова со скрипачом Сарториусом.

Позже всех в клуб явился хирург Самбикин. Он только что вернулся из клиники, где производил трепанацию черепа маленькому ребенку, и теперь пришел подавленный скорбью устройства человеческого тела, сжимающего в своих костях гораздо больше страдания, усталости и смерти, чем жизни и движения. И странно было Самбикину чувствовать себя хорошо — в напряжении своей заботы и ответственности за улучшение всех худых, изболевшихся человеческих тел. Весь его ум был наполнен мыслью, сердце билось покойно и верно, он не нуждался в лучшем счастье, чем контроль за чужим сердцебиением, — и в то же время ему становилось стыдно от сознания этого своего тайного наслаждения. Он хотел уже идти делать свой доклад, потому что раздался звонок, но вдруг увидел незнакомую молодую женщину, гуляющую рядом со скрипачом. Неясная прелесть ее наружности удивила Самбикина; он увидел силу и светящееся воодушевление, скрытое за скромностью и даже робостью ее лица. Содрогнувшись от неожиданного, тайного чувства, Самбикин вышел на минуту на открытый балкон.

Московская ночь светилась в наружной тьме, поддерживаемая напряженьем далеких машин. Возбужденный воздух, согретый миллионами людей, тоской проникал в сердце Самбикина. Он поглядел на звезды, в волшебное пространство мрака и прошептал старые слова, усвоенные понаслышке: «Боже мой!»

Затем он пошел в зал, где собрались его ровесники и товарищи. Самбикин должен был сделать доклад о последних работах того института, в котором он служил. Темой его доклада являлось человеческое бессмертие.

Во втором ряду сидела та молодая женщина с влекущим лицом и рядом с ней опять сидел скрипач со своим инструментом. Улыбка юности и бессмысленное очарование украшали ее, но она сама этого не замечала... Самбикин и его товарищи в институте хотели добыть долгую силу жизни или, быть может, ее вечность — из трупов павших существ. Несколько лет назад, роясь в мертвых телах людей, Самбикин нашел в области их сердца слабые следы неизвестного

вещества, и озадачился им. Он испытал его и открыл, что вещество обладает силой возбуждать слабеющую жизнь, как будто в момент смерти в теле человека открывается какой-то тайный шлюз и оттуда разливается по организму особая влага, бережно хранимая всю жизнь, вплоть до высшей опасности.

Но где тот шлюз в темноте, в телесных ущельях человека, который скупно и верно держит последний заряд жизни? Только смерть, когда она несется равнодушной волною по телу, срывает ту печать с запасной жизни, и она раздается в последний раз как безуспешный выстрел внутри человека, и оставляет неясные следы на его мертвом сердце...

Бродячий луч далекого прожектора остановился случайно на огромных окнах клуба. Слышно было в наставшей паузе, как били по шпунту и выдували исходящий пар паровые копры на Москва-реке. Лида Осипова стала беспокоиться и поворачивала голову на каждого, кто входил в залу. Несколько раз она ходила к телефону — звонить тому, кого она ожидала, но ей никто не отвечал оттуда, вероятно, испортился аппарат, и она возвращалась, не показывая своей печали.

Затем все гости перешли в другое помещение, где был накрыт стол для общего ужина, и там возобновился спор о бессмертии, о доисторических одноглазых циклопах как о первых живых существах, построивших Грецию и олимпийские холмы, — о том, что и Зевс был только каторжником с выколотым глазом, обожествленным впоследствии аристократией за свой труд, образовавшим целую страну, — и о других предметах.

Цветы, казавшиеся задумчивыми от своей замедленной смерти, стояли через каждые полметра, и от них исходило еле заметное благоухание. Жены конструкторов и молодые женщины — инженеры, философы, бригадиры, десятники — были одеты в самый тонкий шелк республики. Правительство украшало лучших людей. Лида Осипова была в синем шелковом платье, весившем всего граммов десять, и сшито оно было настолько искусно, что даже пульс кровеносных сосудов Лиды, беспокойство ее сердца обозначалось на платье волнением его шелка. Все мужчины, не исключая небрежного Самбикина и обросшего метеоролога Вечкина, пришли в костюмах из превосходного матерьяла, простых и красивых; одеваться плохо и грязно было бы упреком бедностью стране, которая питала и одевала присутствующих своим отборным добром, сама возрастая на силе и давлении этой молодости, на ее труде и таланте.

Самбикин попросил Сарториуса сыграть что-нибудь: зачем же он не расстается со скрипкой.

Сарториус поднялся и с прозрачной, счастливой силой заиграл свою музыку — среди молодой Москвы, в ее шумную ночь, над головами умолкших людей, красивых от природы или от воодушевления и счастливой молодости. Весь мир вокруг него стал вдруг резким и непримиримым, — одни твердые тяжкие предметы составляли его и грубая, жесткая мощь действовала с такой злобой, что сама приходила в отчаяние и плакала человеческим, истощенным голосом на краю собственного безмолвия. И снова эта сила вставала со своего железного поприща и крошила со скоростью вопля какого-то своего холодного, каменного врага, занявшего своим мертвым туловищем всю бесконечность. Однако эта музыка, теряя всякую мелодию и переходя в скрежещущий вопль наступления, все же имела ритм обыкновенного человеческого сердца и была проста и понятна тем, кто ее слушал.

Но, играя, Сарториус опять не мог понять своего инструмента: почему скрипка играла лучше, чем он мог, почему мертвое и жалкое вещество скрипки производило из себя добавочные живые звуки, играющие не на тему, но глубже темы и искуснее руки скрипача. Рука Сарториуса лишь тревожила скрипку, а пела и вела мелодию она сама, привлекая себе на помощь скрытую гармонию окружающего пространства, и все небо служило тогда экраном для музыки, возбуждая в темном существе природы родственный ответ на волнение человеческого сердца.

Лида закрыла лицо руками и заплакала, не в силах скрыть свое горе. Оставив свои места, к ней подошли все присутствующие. Сарториус опустил скрипку в недоумении. Всеобщая радость свидания прекратилась.

— Послушайте, — обратилась Осипова к ближним товарищам, — у вас есть у кого-нибудь машина, мне нужно поехать...

— Сейчас будет, — сказал Самбикин.

Он вызвал по телефону автомобиль. Через десять минут Лида Осипова, Самбикин и Сарториус поехали по указанию Лиды.

В районе Каланчевской площади машина свернула в узкий переулок и остановилась. Дальше двигаться было нельзя, — там стояли пожарные машины, хотя огня нигде не замечалось, и только звучала однообразная нежная и грозная мелодия, неизвестно где.

В отдалении переулка находилось небольшое одноэтажное здание с вывеской о том, что это завод по производству весовых гирь и новых тяжелых масс имени инж. В. И. Грубова. У самых ворот того завода находилась машина скорой помощи. Луч прожектора пожарного автомобиля освещал одно окно заводского здания; за окном — внутри помещения — неподвижно сиял самостоятельный фиолетовый свет; готовые ко всему, пожарные цепью стояли против окна — внутри маленького завода сейчас лежал один человек неизвестно, живой или мертвый.

Лида Осипова с холодным сердцем старалась понять обстановку, но вдруг, помимо действия ума и сердца, она закричала: своим высоким, наивным голосом и побежала на завод сквозь строй пожарных, которые не успели ее схватить.

Ее ожидали несколько минут, но она там умолкла и назад не вернулась. Командир пожарных приказал разобрать наружную стену здания и извлечь оттуда людей.

Нежное, грозное пение продолжалось, распространяясь на весь переулок и восходя к электрическому зареву ночной Москвы.

Сарториус узнавал этот голос пространства и дикого окружающего вещества, бывшего мертвым и безмолвным всегда, — это был голос его скрипки, которая лежала у него сейчас в футляре в руках. Он поднял футляр к уху и прислушался: весь матерьял инструмента что-то напевал и, меняя мелодию, следовал неизвестной и трогательной теме, но внешний гул и суета людей мешали уловить мысль музыки.

— Моя скрипка, гражданин... Должно быть, теперь спасибо говорите, а сказать некому.

Сарториус увидел того самого человека, который торговал рыболовными червями на Крестовском рынке и по случаю продал ему скрипку. Он был в летах и служил, оказывается, наружным сторожем на этом заводе, а раньше работал по деревообделочному делу и занимался, ради любви к природе, рыбной ловлей.

— Что это такое у вас происходит? — спросил у него Сарториус.

— Пройдет... Владимир Иванович засел в лаборатории.

— А кто он?

— Кто-кто? Ты читай вывеску — вот он кто. Очнется.

— От чего очнется?

— Опять ему — отчего? — недовольно говорил сторож. — От дела своего... Гляди теперь, и женщина замлеет там с ним.

— Какая женщина?

— Вот тебе — какая! А с тобой-то стояла, кто? Баба Владимира Ивановича, невеста его.

Странный, глубокий звук прекратился, волшебный свет в окне лаборатории погас. В двери проходной конторы завода показалась Лида Осипова и сказала пожарным:

— Ну идите же сюда, скорее, перестаньте портить здание. Теперь здесь не опасно, ток не бьет.

Пожарные вошли внутрь здания и вынесли оттуда молчащего человека, одетого в клочья своей бывшей одежды. Его поднесли к машине скорой помощи.

— Нет, я хочу домой, — сказал инженер Грубов. — Где Лида?

— Несите его сюда. — Самбикин отворил дверь своего автомобиля. — Мы поедем в Институт, — сказал он шоферу.

К автомобилю поднесли утомленного человека; его тело местами было видно, и оно покрылось густой влагой пота, точно он дрался сверх сил, но лицо его было здоровое и глаза закатывались в сон.

— Здравствуйте, — сказал Самбикин Грубову.

— Здравствуйте, — ответил больной инженер.

— Мы поедem к нам в Институт, я вам помогу, — говорил Самбикин, когда Грубова усаживали в машину.

— Не хочу, — отказался Грубов.

— Но это очень интересно: я вам волью одну штуку, какую я добыл. Очень любопытный эксперимент — советую пережить.

— Тогда поедemте, — сразу согласился Грубов.

— Обожди. — В машину всунулся ночной сторож, автор скрипки Сарториуса. — Владимир Иванович, ты что там — замлел?

— Замлел, Сидор Петрович...

— Я, знаешь, хотел к тебе войти — шибает что-то и шибает назад.

— Нельзя, Сидор Петрович, ты умрешь.

— Нельзя — не надо... Можно я отходы возьму — хочу еще скрипки две сделать, последние уж.

— Возьми, Сидор Петрович... Ступай спи, я тоже уморился...

Они уехали. Переулок опустел. Остались только Сидор Петрович и Сарториус.

## 7

По своей привычке жить где попало и даже чужой жизнью Сарториус остался на гирьевом заводе. Его назначили чернорабочим, и он поселился в комнате у Сидора Петровича на заводском дворе. Сторож вскоре научил Сарториуса делать скрипки, он их делал обыкновенно и не знал никакого старинного искусства, но только темный, блестящий матерьял для работы он брал в лаборатории Грубова; этот матерьял был уже негодным и неточным для инженера, его бросали прочь. Сарториус не мог все же понять, почему природное вещество играет внутри почти само по себе и умнее искусства скрипача. Сидор Петрович тоже этого не знал, и даже не интересовался.

Целых два месяца томился Сарториус, ничего не узнавая, пока завод не перешел на производство новых гирь. Их не хватало в колхозах; хлеб и трудодни колхозника, сбережение урожая — наиболее драгоценного общего добра — зависело от наличия точных гирь. С их производством поэтому спешили и многим рабочим повышали квалификацию через краткие курсы. Сарториуса тоже послали учиться работать на новом деле. В заводе тогда появились небольшие электрические машины, похожие на радиоприемники. Эти машины излучали резкую, дробящую, невидимую силу, от которой обрабатываемый материал сначала грустно пел, а потом умолкал и был готов к изделию. Материалом для гирь служила глина, прессованные древесные стружки, даже простая земля и все, что дешево и почти негодно. После обработки электричеством это вещество делалось твердым, тяжелым и прочным, как сталь и свинец.

Инженер Грубов объяснил рабочим, что мир, особенно же те его места, которые обработаны человеком, построен из большого матерьяла, так как все его мелкие молекулярные части выбиты огнем, трудом, машинами и другими событиями из своих родных, лучших мест и бродят теперь в тоске внутри вещества. Электрический ток высокой частоты и ультразвуковое колебание быстро возвращают молекулы в их древние места — природа делается здоровой и прочной, молекулы оживают, они начинают давать гармонический резонанс, то есть отвечают звуком, теплотою, электричеством на всякое их раздражение, и даже поют сами по себе, когда раздражение уже прекратилось, давая знать своим далеким голосом, что они страдают и сопротивляются. И этот звук оказался понятным для человека, его сердце, когда оно несет напряжение искусства, поет почти так же, только менее точно и более неясно.

— Это оправдалось на скрипках, сделанных Сидором Петровичем, — сказал однажды Грубов на производственном совещании. — Скрипки сделаны из матерьяла, не годного по своим качествам для весовых гирь, музыку он получил из нашего брака... Но я думаю — нам придется теперь сделать несколько скрипок из настоящего матерьяла...

Грубов улыбнулся, и лицо его, омраченное долгим трудом, сделалось кротким и молодым. Этот человек много раз переживал смертельные страдания от действия жестких, диких сил электричества, и лишь будучи на краю своей могилы узнал судьбу мертвого вещества и изменил его, насколько мог.

Сарториус проработал на гирьевом заводе до сентября месяца, но потом исчез неизвестно куда. Его влекла большая Москва, на него действовало многолюдство, как воодушевление, и чужое сердце интересней своего, — он хотел испытать свою душу во всей многообразной судьбе нового мира, а не только в качестве скрипача, не в одних узких пределах своего таланта.

Земляки из его колхоза искали его по осени по всей Москве, но нашли одни слабые признаки Сарториуса в виде справок о его проживании, а живым его нигде не оказалось: он заблудился между людей. Страна его велика и добра.

### «ПЕРВЫЙ ИВАН»

— Здравствуй, товарищ Первоиванов!

— Здравствуй, приезжий!.. Чего прибыл в осеннее время? Чужого ума ищешь учиться или просто хлеб ходьбой зарабатываешь?

— Чужого ума ищу.

— А свой принес?

— Своего мне мало.

— Ага! Ну, раз мало, то живи с нами; у нас тоже ума не хватает. Может от твоей малости что прибавится!

Этот разговор был произнесен на юге Уральской области, в земледельческом коллективе имени Исаака Ньютона, где Первоиванов и его два помощника были членами и механиками. Механик же в колхозе — это весьма возвышенное лицо, это естествоиспытатель, командир огнедышащего инвентаря и человек науки-техники; лучшие снаружи девушки состоят во многих колхозах невестами механиков. Так приблизительно обстояло дело и в коллективе Ньютона. Но Первоиванов еще не додумал всех своих мыслей, еще не сделал из стихийной природы искусственного советского творения, поэтому заставлял невесту постоянно терпеть и страдать без обручения. И когда он виделся с невестой, — что было редко, — то, вероятно, больше размышлял о странности стихийной природы, чем любовался женским присутствующим существом.

Я остался в «Ньютоне». Мне было важно изучить труд ума и рук Первоиванова — предметы новой техники, о которых он мне писал дважды, предлагая выслать из Москвы гвозди, провода, полый медный шар, водяной насос высокого сжатия, манометр, и многое прочее. Что мог, я отыскивал на Мясницкой и отправлял наложенным платежом в степную мастерскую Первоиванова.

В тот день Первоиванов пришел отдыхать в общий дом коллектива поздно ночью, но мы стали разговаривать о научной судьбе советского государства, и т. Первоиванов променял сон на увлечение технической беседой. Я сидел с молчаливым сочувствием, а Первоиванов говорил передо мною как великий безвестный эконом и ключник природы. Он имел низшее техническое образование, и, прожив жизнь в глуши, где пахло конским навозом монгольских всадников, где на все четыре страны света не возвышалось ни одного технического устройства, — Первоиванов умножил свое знание, совершил научно-технические открытия и выполнил прекрасные изобретения. Он — полусамоучка — изучил несколько сот технических книг,

поэтому мысль его была точна, а разговор прост и интеллигентен. Он рассуждал, как европейский инженер, с сознанием скромности своего тщательного ума, без превосходства прирожденного невежды. Этот нестарый мастеровой был истинный интеллигент: он знал и чувствовал теорию, как инженер, он пережил практику, как рядовой рабочий.

Я достаточно сильно удивлялся ему. Изобретателей-кустарей я видел, видел вечные двигатели, работающие моченым и сухим песком, но еще не наблюдал мастерового, ставшего ради изобретательства совершенным техническим интеллигентом, и притом личными усилиями.

Вблизи нас спали мужчины-коллективисты на раскладных кроватях. Горела лампа; дверь на балкон была открыта для воздуха; за балконом лежала мрачная мировая косность, привычная до неощутимости и примирения с нею.

Первоиванов говорил, а мы, три человека — два тракториста и я, слушали его.

— Сахара, Гоби, песчаные реки Азии — это экскременты неразумных культур, легших в уготованные самим себе песчаные могилы. Что такое вся Средняя Азия? Это — пески и люди! «Верно ведь!» — думали все мы и молчали дальше.

А Первоиванов говорил с жадностью и скупостью настоящего разума, воображая весь мир своим двором, в котором, однако, еще царствует хищная, смертная бесхозяйственность.

— Основной капитал человечества — плодородие земли, поэтому он не должен расхищаться и истребляться, а должен лишь использоваться, сохраняя абсолютную величину постоянной.

Современные способы эксплуатации почвы, конечно, есть причины образования пустынь. Современная система сельского хозяйства есть хищничество по существу и разрушение производительных сил земли, а не хозяйство в нравоучительном смысле. Хозяйство есть такая система трансформации элементарных производительных сил, где абсолютная величина производительных сил, участвующих в процессе трансформации, постоянна, а, так сказать, частная прибыль, продукт, прибавочная ценность образуются за счет солнечной энергии, участвующей в хозяйстве как элементарная производительная сила, — энергии, практически не убывающей. За счет солнца же должно происходить восстановление органических потерь и нарушений почвенных элементарных производительных сил — потерь благодаря трансформации. Этот частичный ремонт почвы возможен, конечно, лишь при участии посредников (системы чередования растений, удобрений и пр.), искусственно вводимых человеком, которых также можно рассматривать как трансформаторов солнечной энергии.

Земля должна быть цела и девственна, а вся пышная жизнь человечества пусть идет целиком за счет солнца. В этом, по сути, конечная цель агрономической техники.

Я сейчас коснусь лишь способа ликвидации одного, и главнейшего, пустынообразователя — поверхностного стока вод. Весеннее таяние снега и ливни дают в результате мощные потоки воды, которые с большими скоростями сбегают в реки, выгребая из почвы те вещества, которые питают растения. Ежегодно уносит вода такие богатства, которые не исчислишь, которые не восполнишь никакими удобрениями. Значит, стихийный поверхностный скат воды есть причина истощения почвы, есть сосун ее плодородия. Это одно. Второе: мы теряем воду, которая сама по себе необходима растению и от недостатка которой мы бедствуем постоянно и пока неизлечимо. Ведь 50-60 процентов всех осадков уходит безвозвратно. Это два. Кроме того, стихийный поверхностный сток воды творит овраги, увеличивая площадь неудобных земель и умыкая поля; он заносит реки продуктами размыва почвы, заставляя блуждать их русла и плодя болота, он, этот сток воды, дробит организм почвы, вода делает неорганический песок, а этот песок, обрабатываясь ветром, образует холмы и барханы, заносит плодородные черные земли — и уже дышит пустыня. Это три. Этого достаточно.

Надо уничтожить главного пустынообразователя — поверхностный сток воды. Но как это сделать?

Мы, здесь, в колхозе, разработали особый проект «реконструкции рельефа», суть которого в создании водозадерживающих валиков по горизонтам поверхности. Валики должны



охватывать как можно большую площадь (тем действительней будет их эффект). Теоретически этим достигалось почти полное прекращение поверхностного стока. Последний, таким образом, превращался во внутренний сток. Горизонтальное скольжение воды заменялось вертикальным ее поглощением почвой. Почва выходила из весны в лето жирно насыщенной влагой...

Первоиванов на время смолк. Мы ничего не могли сказать ему, и он сам добавил:

— Вот когда у нас вода не будет течь, а будет всасываться в землю, у нас получится действительно большевистская почва. А сейчас у нас есть овраги, пески, обнаженные глины. Это еще не наша, а царская территория!

Спящие коллективисты открывали глаза от звуков слов Первоиванова и вновь закрывали их от неизжитой усталости.

— Дмитрий Степанович, — обратился один слушатель-тракторист, — я читал, что ум кормится фосфором. У тебя, должно быть, много фосфора в голове!

— Наверно, есть, — ответил Первоиванов. — Только многие люди живут так плохо и вредно, что лучше б было поколоть ихние головы и обратить оттуда фосфор на минеральное удобрение.

— Ты бы лучше поспал, — сказал тот же тракторист. — А то весь фосфор истратишь. Чем завтра будешь думать?

— И то, надо поспать. Давайте успокоимся на последние темные часы.

Через несколько минут мы затихли, бурча во сне невысказанные слова.

Я проснулся уже в пустоте общежития, освещенного одиноким солнцем. Все спавшие люди давно пробудились и ушли на общий труд. Я вспомнил, что в Москве люди трудятся тоже коллективно, но живут одиночно и часто ругаются. Здесь же было тихо, лишь где-то вдали шумела, вращаясь, неизвестная машина или какое-нибудь орудие. Я находился в колхозе ненужным человеком и решил ввязаться в труд на эти дни.

В общежитие вошел человек в кожаной, истертой о машины одежде: очевидно, один из механиков или мастеров «Ньютона». В «Ньютоне» половина людей была в сапогах и в коже, а другая половина — женщины и дети; но после я увидел, что и женщины обращаются с инструментом в слесарном отделении колхозной мастерской, а подросшие дети — юные натуралисты, и с ними приходилось говорить, напрягая все свои остаточные естественные знания.

— Тебя зовет Первый Иван, — сказал нерусским голосом пришедший человек. — Живи — не спи.

— Ты кто? — спросил я.

— Я в коллективе — электрик Гюли, я был киргиз.

— Разве электрик лучше киргиза? Ведь киргиз — сильный человек, и его народ терпелив и способен к трудной жизни. Там, где живут киргизы, другие люди через год погибли бы или сошли с ума от нервности!..

Гюли помолчал, давая мне из уважения время для слова, а затем начал думать и отвечать:

— Твоя голова лучше твоего слова. Я видел тайгу. Отец говорил, что дальше тайги народ живет на льду, и я сказал отцу: «Тот народ умный, что умеет жить на льду, — киргиз бы там умер». А отец научил меня: «Ты глупый, — тот народ тоже умер бы в киргизских песках». А другое ты говоришь: киргиз сильный, а лучше электрика! Твое верно: киргиз сильный, но пустыня терпеливей киргиза; пустыня останется, а киргиза не будет. Электрик лучше киргиза, электрик сильнее пустыни, а киргиз — нет. Всякий киргиз будет электрик и механик — от них пустыня зарастет, а человек останется. Ты плохо уважаешь киргиза.

Мы вышли на колхозную усадьбу, похожую на заводской двор; из скотины присутствовали вдалеке, в углу усадьбы, коровы, овцы и одна толстая неработоспособная лошадь. Первоиванов пускал в работу реконструктор рельефа. Я разглядел механизм...

Но меня больше всего привлекала неизвестная мачта вдалеке и шар на ней из красной меди, блестящей на солнце.

Подойдя поближе, я рассмотрел на том шаре особые заусенции, или тонкие острия, вделанные в тело шара перпендикулярно к его поверхности. У основания той мачты помещалась небольшая деревянная будка, закрытая на замок; из будки шел провод на вершину мачты — к медному шару, и другой провод, разделявшийся далее на несколько проводов. Эти последние провода покоились подвешенными на низенькие столбики, а со столбиков вонзались прямо в землю и в ней пропадали где-то. На земле же находились, ограниченные канавками, четыре участка, явно похожие на подопытные и контрольные делянки. Но делянки были гладки и пусты, — наверно, на них ничего летом не произрастало. Я не мог понять такой картины и сел в канаву, взволнованный тайной техники.

Через два часа я вновь посетил это место в сопровождении Первоиванова и Гюли, поскольку вся таинственная установка представляет их совместное изобретение, достигнутое в течение шести лет изучения, размышлений и опытного труда. Вечером Гюли показал мне свои расчеты, записки, вспомогательные научные книги и объяснил всю тайну...

В почве вода присутствует в двух состояниях: пленочном и капельно-жидком (это давно установлено многими исследователями). Проявляя «всасывающую энергию», почва получает влагу извне для себя и этой же силой старается удержать ее.

Но что такое всасывающая влагу энергия почвы?

Поверхность земли, то есть почва, в первую очередь, имеет электрический заряд отрицательного знака (открытие принадлежит старым ученым, фамилии которых мне Первоиванов говорил, но я забыл)...

Отрицательные электроны, входящие в структуру атомов почвы, образуют пленочную влагу. Эта пленочная влага практически в сельском хозяйстве никак не может быть использована.

Но, кроме пленочной, в почве находится еще влага в капельно-жидком состоянии, всосанная в почву отрицательными электронами, находящимися в свободном, а не структурно-атомном состоянии, т. е. циркулирующими в почве по своим законам.

Эти свободные отрицательные электроны в почве и есть причина всасывающей силы почвы. Они образуют в почве влагу в капельно-жидком состоянии, которая остается влагой и не теряет своих свойств влаги, а следовательно, может быть использована в сельском хозяйстве.

Такова теория Гюли и Первоиванова. А первый опыт их был такой (он произведен в 1926 г.).

На делянке, площадью около 40 квадратных метров, был посеян овес. Такая же была контрольная делянка. Имелся источник электрического тока в виде многоэлементного аккумулятора с высоким напряжением тока. Положительный полюс аккумулятора был соединен с медным полым шаром на мачте: Гюли припаял к поверхности шара множество длинных и тонких концов, чтобы положительный заряд уходил через них в атмосферу. А отрицательный заряд направлялся в почву, в корневую систему растений, посредством соединений луженых волосков провода с корнями овса. Таких соединений на опытной делянке было семь. Сколько положительного электричества уходило в атмосферу, столько же отрицательного электричества поступало в корнеобитаемый слой почвы. Не имея приборов и возможностей для точного учета результатов опыта, Первоиванов и Гюли достигли в 1926 г. такого конца своей работы:

1) Почва подопытной делянки хранила влаги больше по сравнению с контрольной делянкой; простейшим выпариванием установлено, что в пробе почвы с опытной делянки влаги было больше приблизительно на 8 процентов, чем на контрольной делянке.

2) Вероятно, были побочные положительные действия отрицательного тока на физиологию растений, кроме лучшего увлажнения почвы, потому что опытная делянка имела на вид более пышную растительность.

3) Валовой урожай твердой массы урожая с опытной делянки превысил контрольную делянку на 12 процентов.

4) Очевидно, что крайне кустарная обстановка опытов позволяет считать эти результаты лишь условными.

По расчетам Первоиванова и Гюли, для электрического орошения нужна примерно одна лошадиная сила на каждые 100 гектаров. А при больших площадях — и того меньше. В стоимости это выражается по 5-10 рублей на гектар.

Обладая исключительной простотой, ясностью и изяществом устройства, электрический способ орошения, изобретенный в «Ньютоне», может стать решающим орудием в борьбе с засухой. Мы можем сразу нанести засухе смертельный удар по всему фронту.

— Действительно, — воскликнул для своего слушателя Первоиванов, — что тут происходит? Ведь мы копируем природу — делаем в почве то же самое, что делает и она по своей воле, лишь искусственно подгоняя и усиливая ее. Как рождаются тучи в атмосфере, как получается капельно-жидкая влага в почве, таким же путем идем и мы, лишь оснащая почву усиленной пропорцией отрицательных электронов и получая поэтому более могучее всасывание почвой паров влаги в себя. Но откуда же будет приходиться влага в почву после добавочного, считая против природной нормы, насыщения ее отрицательными электронами? А вот. Влага почвой будет усиленнее всасываться из-под почвы; отработанные, испаряемые растением пары влаги будут втягиваться обратно в почву, поступая, стало быть, во второй оборот; обтекающие дневную поверхность почвы пары влаги, а также утренние и всякие иные росы будут также вовлекаться в почву; наконец, поступившие хотя бы тощие осадки сильнейшим образом будут замедлены в своей фильтрации под почву и в испарении, уходя, главным образом, в полезный оборот растения и образуя некоторый запас влаги на будущее, — запас, который стянут электронами, как цементом.

Электрическое орошение соберет влагу по крохам отовсюду, и хлеб растущий будет сыт.

— Вы мне говорили про опыты 1926 года, а я видел ваше устройство нынче. Что у вас теперь выходит?

— Это другое, — сказал Первоиванов. — Это мы пробуем переродить электрическую почву. Там первые опыты по удобрению голой почвы электричеством.

— Каким образом?

— Образом изменения строения почвы, чтоб растению было выгодней питаться и жить. Но только у нас ничего не выходит пока.

— Может быть, еще выйдет?

— Конечно, выйдет. Природе от науки некуда деваться.

— А зачем это все нужно, товарищ Первоиванов? Природу вы денете в науку, свой коллектив сделаете зеленой крепостью среди мутных мертвых песков. Ну, и что же?.. Вам придется только пироги с начинкой кушать — больше ничего. Вы носите имя Исаака Ньютона, а добьетесь того, что обратитесь в артель сытых людей!

— Ты слаб в отношении чужого характера, — заявил Первоиванов. — Нам пища-одежда-жилище — пустыки: их мы в умах устроим. Мы соображаем прочней и дальше, наш колхоз в одиночку не удержится. Как же это так: ты одну пятитысячную часть своей жизни истратил на нас, а не понимаешь?!

— Нет, не понимаю.

Первоиванов со всем терпением присущего ему стойкого ума объяснил мне с полной ясностью, что колхоз в честь Исаака Ньютона не что иное, как центр, или просто точка, целой системы — союза подобных колхозов, которые должны создаться — и уже создаются — от южного конца Уральского хребта вплоть до северного берега Каспийского моря. Эти сомкнутые колхозы покроют сухую степь и полупустыню непрерывной зеленой живой полосой, с тем, чтобы эта полоса культурных растений послужила несокрушимой стеной, ботаническим кремлем против активных среднеазиатских пустынь, с тем, чтобы пустыня иссякла, упершись в юго-восточный противозасушливый союз колхозов. Нижнее и Среднее Поволжье, Северо-Кавказский край и Украина никогда не должны чувствовать желтой чумы пустыни. Кто это

должен сделать, то есть кто именно будет жить и работать в таких противоположных коллективах? Конечно, в первую очередь кочующие калмыки и киргизы. Они знают пустыню, они гибнут от нее, и они способны победить ее. Причем форма колхоза как раз наиболее приспособлена для безболезненного и быстрого перевода кочующих племен и родов на оседлость, не разлучая людей внутри племени или рода...

Так, по словам Первоиванова, в одном узле должны решиться национальная, климатическая, классовая и техническая задачи. Весь план выдумал и доказал Гюли, Первоиванов же был в этом плане, так сказать, «изобретателем технической революции».

Дальше Первоиванов унылым голосом говорил о своей общей скорби. Эта скорбь ощущалась им от расточения имущества природы бесхозяйственным человечеством. Нефть и уголь изымаются и передаются обращению в силу посредством огня, то есть уничтожению навеки. Леса изводятся на дрова, в тепловой газ, который уже невозможно превратить обратно в вещество. Материю земного шара тратят непрерывно, и кончится это дело великой нуждой. И как это не жалко никому? Где же наука экономии и чувство скупости ради существования будущих людей? Того нет и не предвидится.

В размышляющей тоске Первоиванов опустил голову, и так же поступил Гюли.

Поэтому Первоиванов, Гюли и весь человеческий коллективный состав «Ньютона» сейчас думают более всего над устройством новой экономики жизни. В новой экономике сила и тепло должны добываться из падающей воды и дующего ветра, то есть посредством таких стихий, где вещество — капитал природы — нисколько не уничтожается. К концу времени люди не должны стать обездоленными — они и тогда, через наш берегущий разум, должны иметь под ногами полнотелый земной шар. По докладу Первоиванова колхоз принял план, что летом будущего года начнется сооружение ветросиловой установки, которая снабдит главную усадьбу коллектива силой, светом и теплом. Узнав эти обстоятельства, я возразил:

— Ведь металл в машинах изнашивается: он рассыпается, истирается, стареет, пропадает в невозвратимый прах. И вы не можете экономить вещество в быстроходной технике.

— Это да... — задумался Первоиванов. — Но мы такую вещь предупреждаем прессовкой металла. Мы уж с Гюлем это обдумали. Идем, я тебе покажу — у нас тайны нету, мы работаем для всех большевистских людей. Денег за мысли об улучшениях мы не просим — они сами к нам придут от изобретений.

И я посетил небольшую литейную в колхозной мастерской. Там была новость — пресс для упрочнения металла...

Металл разогревался до жидкого состояния обыкновенным способом, в вагранке. Затем расплавленный металл подносился в тиглях к прессу и наливался во второй — назовем его исполнительный — цилиндр... Пресс немедленно пускался в действие: из первого, рабочего цилиндра выходил поршень и вдавливал второй поршень внутрь исполнительного цилиндра, наполненного жидкостью металла. Постепенно жидкость сжималась все более, объем ее уменьшался, пресс гудел от напряжения...

Когда происходил процесс увеличения давления, Гюли несколько раз выпускал особым краном газ из грушевидного сосуда над исполнительным цилиндром. Этот газ освобождался из недр сжимаемого металла, чтобы он не остался там в виде раковин, пустот и желваков, уменьшив прочность строения металла...

Через несколько минут металл, остывая, уже твердеет под сжатием. А раз он затвердел, то, следовательно, остается в таком искусственно-малом объеме, какой ему придало мощное прессование. Тогда остается разомкнуть заднюю крышку исполнительного цилиндра и посредством несильного нажима рабочим поршнем вытолкнуть наружу готовый металл. Он уже теперь имеет чрезвычайную прочность, его строение спрессовано навсегда.

Понятно, я опустил многие детали процесса отпрессовки и самого устройства гидравлического пресса... Однако принципиальная часть изобретения изложена.

Прессованный, «сжатый» металл допускает только холодную обработку. Для того же, чтобы получить изделие нужной формы, необходимо, чтобы пресс в своей исполнительской части имел форму заданного изделия, был бы, так сказать, изложницей. Но чтобы так устроить, следует иметь не один пресс, а целую серию их, и притом производство должно быть посвящено одному какому-либо стандартизованному изделию — например, определенному двигателю, станку и т. д.

Это изобретение Голи и Первоиванова еще не доведено до конца: прессованный металл имеет хрупкость, показатель которой выше хрупкости обычно приготовленного металла. Однако Первоиванов предполагает в ближайшее время этот недостаток пресечь путем ввода в тело жидкого металла особого вяжущего состава. Мне кажется, что это Первоиванову удастся, потому что ему и его друзьям само время помогает, да и стихии мира, видимо, не прочь отжаться в его бережные, разумные и догадливые руки.

Таковы советские умственные дела, сбывающиеся за чертой нашего внимания безвестными, великими и рядовыми людьми «массы».

Вскоре я отправился домой. Мне пришлось долго ехать по осенней степи, среди которой природа исполняла свою скуку.

Было в точности ясно, что в мире необходимо иметь множество «Первых Иванов», дабы уничтожить скуку природы счастливым смыслом их совокупного, образующего творчества.

## **НАДЛЕЖАЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ** (Святочный рассказ к 10-й годовщине)

Циркуляр гласил нижеследующее:

«Приближающуюся 10-ти летнюю годовщину Великой Ок-тябрьской Революции, как Всемирно-Историческое Собы-тие, надлежит ознаменовать соответствующими надлежа-щими мероприятиями. Не внося предварительных предло-жений и не предрешая форм необходимых мероприятий, мы всецело предоставляем изыскание таковых форм инициативе служащих масс вверенного нам ведомства; однако предложения должны быть завизированы завами соответствующих отделов, в котором сотрудник, вносящий предложение, числится по штату, и затем передана Нач. АФУ для систематизации и передан мне на утверждение.

Пред. Управления Электрофлюидсиндиката Ф. Кроев.

Нач. АФУ И. Месмерийский.

Зав. Орг. Отд. Завын-Дувайло».

Служащие массы, получив под личные расписки текст цирку-ляра, одновременно задумались. Многие тотчас же рапортовали, что их мышление вращается в кругу мероприятий, предусмотренных операционным планом на 1927-8 год, а так как в плане 10-летний юбилей Октября не обозначен, то и мысль невозможно направить по линии внепланового задания, а посему нижеподписавшиеся не имеют предложений.

Но и иные служащие, принятые вне биржи труда, озаботились и стали вносить предложения, чтобы уцепиться на служебных постах.

Сначала почти все инициаторы посетили товарища Завын-Дувайло на предмет справки: подлежат ли предложения оплате установленным гербовым сбором или нет, а также — на скольких страницах допустимо писать предложения.

Получив точные разъяснения, инициативные служащие сели писать — конечно, дома, чтобы не занимать служебного времени.

Через 2 недели, к указанному в циркуляре сроку, тов. Месмерийский приступил к предварительной читке поступивших предложений. Некоторые из них он дал мне — «для отжатия смысла и составления оценочного резюме», как указал мне тов. Месмерийский.

В порядке поступления я публикую некоторые предложения для получения их гласного одобрения. Эти предложения я сократил отжав смысл из бумажных пространств и выбросив революционные трюизмы, неизбежно предшествовавшие каждому предложению (как будто их составители были на заметке у ГПУ и усердно реабилитировали себя).

«...Сосчитавши героев Октября, я подвел итог и у меня вышло 147 человек, что для 1/6 части мирового пространства обидно мало. А потому, а также вследствие... я был бы рад, если бы соответствующие ведомства, напр. Наркомвнудел, ЦСУ, Наркомвоенмор и др., завели книги учета выдающихся деятелей революции по всем советским линиям... дабы в будущем составить единый том с перечнем всех героев и утвердить его вышестоящей инстанцией. Затем том героев опубликовать вместе с фотографиями и факсими-ле — для всеобщего почитания трудящимися массами. Такой труд был бы великим достижением наряду с Днепростроем и прочими гигантскими масштабами...

Секретарь общего п/отдела Орготдела Адм.-Фин. Управления Е. С. Несваринов».

«...Товарищ Никандров, будучи чистым Новороссийским пролетарием, до подобия похож на великого вождя В. И. Ленина. Эта косвенная причина послужила обстоятельством для его игры в знаменитой картине «Октябрь» режиссера туманных картин т. Эйзенштейна. Имея в виду необходимость широкого ознакомления пролетариата с образом скончавшегося вождя, а мавзолеев в Москве не может обслужить всех заинтересованных, я предлагаю... учредить особый походный мавзолей, где бы тов. Никандров демонстрировал свою личность и тем восполнял существенный культурный пробел... От сего трудовой энтузиазм и преданное рвение в народе возвысятся и поездки тов. Никандрова самокупятся...

Делопроизводитель Отдела заказов Х. Вантунг».

«...Особым торжественным законодательным актом организовать на пространстве Союза 10 революционных заповедников, в коих бы и собрать атрибуты и живых участников великих события — для вечного показа потомкам и поучения их. Следовало бы открыть такие ревзаповедники на Перекопе, в Самаре, Ярославле, в Донских пунктах; в Ленинграде и прочих местах обширного соотечества. Атрибуты и живые участники должны состоять в нетронutom и естественно — героическом покое...

Зав. п/отделом ликвидации убытков Ф. Арчаков».

«...Срочно организовать всесоюзную архивную кампанию, с целью отыскания замечательных документов эпохи, с последующим преподанием их публике в напечатанном систематическом виде. Для успешного проведения кампании привлечь учащих, красно-армейцев и безработных, а также комсомольцев в их, имеющий в виду быть, субботник...

Старш. архивариус синдиката Родион Маврин».

«...Художественно начертить схему диктатуры пролетариата — от председателя Всесоюзного Съезда Советов вплоть до батрака и лесоруба. Заключение же, беспризорных и частных связать с общей схемой пунктиром... Схему выставить на радиомачте станции Коминтерна и осветить прожектором со склада Синдиката...

Чертежник Проектбюро Ч. Плюрт».

«...Всем союзным женщинам надо сшить по одной варежке беспризорным, только сговориться, чтобы они не пришлись на одну руку.

Машинистка О. Становая».

«...Добиться всесоюзного радостного единодушия, посредством испускания радиоволн, и организовать взрывы счастья, с интервалами для заслушивания итоговых отчетов...

Счетовод А. Зверев».

«...Спеть одновременно под открытым небом всем Союзом Социалистических Народов Интернационал — в полтора миллиона голосов с лишним. Я полагаю, его услышат даже китайцы и лорд Чемберлен. Пускай это будет обедня Всемирной революции и задрожат анафемы капитала.

Кассир Г. Л. Латыгин, быв. комроты Туркестанской  
Краснознаменной дивизии особого назначения».

«...Раньше бывало ходят так называемые божьи странники: висит у них на животе кружка, на кружке живописная картинка, а в кружку кладут пятаки и любую разменную монету — по желанию. Так и строились Кафедральные соборы. Так нужно и теперь. Надо раздать кружки нашей полухулиганящей молодежи, над кружкой поместить четкие чертежи Днепростроя и Волго-Дона с перспективой экономического благополучия и пустить молодцов по советским странам. Через год — к 11 летию — мы бы одной меди набрали на индустриализацию миллионов триста...

Инструктор межрайонной торговой периферии  
синдиката И. Жолнеркевич».

«...Энергию крымских и всяких прочих землетрясений употребить для неотложной электрификации тех же мест...

Лифтер Порежин».

«...Вывесить загодя высокий флаг, а ходить по грязям толпой не нужно. Пушай люди лежа полежат хоть в десятый год.

Рассыльный М. Крестинин».

Эти и прочие мероприятия, надлежаще сведенные мною в единое и общее целое, пошли к тов. Месмерийскому.

Означенный начальник ознакомился с папкой предложений лишь как с вещью, а не как с содержанием смысла, и выразился общей резолюцией.

**«Пред. Правления Синдиката. Для непосредственного соответствующего распоряжения, т. к. дело относится к политическим мероприятиям».**

Предправления тов. Кроев продержал папку четыре недели и так и не мог ее прочитать — от занятости текущими делами.

Начал падать снег — приближался Ноябрь вместе с годовщиной.

Тов. Месмерийский направил меня к тов. Кроеву — для напоминания о праздничных мероприятиях.

Через 2 дня я был принят и заявил у стола председателя:

— Тов. Кроев, прочитайте всю массу предложений — там есть существенные мероприятия...

— Да? — спросил Кроев, удивившись, что его сотрудники могут предлагать что-то существенное. — Что же, сделаем что-нибудь... Я, знаете ли, уже читал предложения. Что, не ожидали? Прочитал. Все мероприятия стоят миллиард — я прикидывал. Взять из них одно — рассыльного: вывесить флаг... Надо попостней, чтобы вышло поэкономней... Вот. А папку возьмете — отдайте в архив...

Затем папка с исходящих номеров вошла через входящий журнал в архив — к тов. Р. Маврину. Тот ее аккуратно занумеровал большим номером вечного покойника и положил в отдел «Оргмероприятия». При составлении ведомости достижений Синдиката к 10-й годовщине Октября — работа архивариуса была надлежаще учтена в графе «Нагрузка аппарата»; 20000 дел плюс одно.

## РОДИНА ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Шло жаркое, сухое лето 1921 года, проходила моя юность. В зимнее время я учился в политехникуме на электротехническом отделении, летом же работал на практике, в машинном зале городской электрической станции. От работы я сильно уставал, потому что никакого силового резерва из станции не было, а единственный турбогенератор шел без остановки уже второй год — день и ночь, и поэтому за машиной приходилось ухаживать столь точно, нежно и внимательно, что на это тратилась вся энергия моей жизни. Вечером, минуя гуляющую по летним улицам молодежь, я возвращался домой уже дремлющим человеком. Мать мне давала вареную картошку, я ужинал и одновременно снимал с себя рабочий пиджак и лапти, чтобы после ужина на мне оставалось мало одежды и сразу можно было бы лечь спать.

Среди лета, в июле месяце, когда я так же, как обычно, вернувшись вечером с работы, уснул глубоко и темно, точно во мне навсегда потух весь внутренний свет, меня разбудила мать.

Председатель губисполкома Иван Миронович Чуняев прислал ко мне со сторожем записку, в которой просил, чтобы я нынче же явился к нему на квартиру. Чуняев был раньше кочегаром на паровозе, он работал вместе с моим отцом и по отцу знал меня.

В полночь я сидел у Чуняева. Его мучила задача борьбы с разрухой, и он, боясь за весь народ, тяжело переживал мутную жару того сухого лета, когда с неба не упало ни одной капли живой влаги, но зато во всей природе пахло тленом и прахом, будто уже была отверзта голодная могила для народа. Даже цветы в тот год пахли не более, чем металлические стружки, и глубокие трещины образовались в полях, в теле земли, похожие на провалы меж ребрами худого скелета.

— Ты скажи мне, ты не знаешь, что такое электричество? — спросил меня Чуняев. — Радуга, что ли?

— Молния, — сказал я.

— Ах, молния! — произнес Чуняев. — Вон что! Гроза и ливень... Ну, пускай! А ведь и верно, что нам молния нужна, это правильно... Мы уж, братец ты мой, до такой разрухи дошли, что нам действительно нужна только одна молния, чтоб враз и жарко! На вот, прочти, что люди мне пишут.

Чуняев подал мне со стола отношение на бланке сельсовета. Из сельсовета деревни Верчовки сообщали:

«Председателю губисполкома  
тов. Чуняеву  
и всему президиуму.



Товарищи и граждане, не тратьте ваши звуки среди такой всемирной бедной скуки. Стоит, как башня, наша власть науки, а прочий Вавилон из ящериц, засухи разрушен будет умной рукой. Не мы создали божий мир несчастный, но мы его устроим до конца. И будет жизнь могучей и прекрасной, и хватит всем куриного яйца! Не дремлет разум коммуниста, и рук ему никто не отведет. Напротив: он всю землю чисто в научное давление возьмет. Громадно наше сердце боевое, не плачьте вы, в желудках, бедняки, минует это нечто гробовое — мы будем есть пирожного куски. У нас машина уж гремит — свет электричества от ней горит; но надо нам помочь, чтоб еще лучше было у нас в деревне на Верчовке, а то машина ведь была у белых раньше, она чужою интервенткой родилась, ей псих мешает пользу нам давать. Но не горюет сердце роковое, моя слеза горит в мозгу и думает про дело мировое!

За председателя Совета  
(он выбыл в краткий срок на контратаку  
против всех бандитов-паразитов  
и ранее победы не вернется ко двору) —  
делопроизводитель Степан Жаренов».

Делопроизводитель Жаренов был, очевидно, поэт, а Чуняев и я были практиками, рабочими людьми. И мы сквозь поэзию, сквозь энтузиазм делопроизводителя увидели правду и действительность далекой, неизвестной нам деревни Верчовки. Мы увидели свет в унылой тьме нищего, бесплодного пространства, — свет человека на задохнувшейся, умершей земле, — мы увидели провода, повешенные на старые плетни, и наша надежда на будущий мир коммунизма, надежда, необходимая нам для ежедневного трудного существования, надежда, единственно делающая нас людьми, эта наша надежда превратилась в электрическую силу, пусть пока что зажегшую свет лишь в дальних соломенных избушках.

— Ступай туда, — сказал мне Чуняев, — и помоги им, ты долго ел наш хлеб, когда учился. С городской электрической станцией мы сговоримся, тебя оттуда отпустят...

На другой день я с утра отправился в деревню Верчовку; мать сварила мне картошек, положила в сумку соли и немного хлеба, и я пошел на юг по проселкам и шел три дня, потому что карты у меня не было, а Верчовок оказалось три — Верхняя, Старая и Малобедная Верчовка. Но делопроизводитель, товарищ Жаренов, думал, конечно, что их знаменитая Верчовка только одна на свете и она известна всему миру, как Москва, поэтому Жаренов и не прибавлял к своей деревне добавочного названия, а жареновская Верчовка оказалась именно Малобедной, чтоб можно было отличить ее от прочих Верчовок.

Обойдя обе Верчовки, где не было электрических станций, к Малобедной Верчовке я подошел за полдень третьего дня пути... На виду деревни я остановился, потому что заметил большую пыль в стороне от дороги и рассмотрел там толпу народа, шествующую по сухой, лысой земле. Я подождал, пока народ выйдет ближе ко мне, и тогда увидел попа с помощниками, трех женщин с иконами и человек двадцать богомольцев. Здешняя местность имела покатошь в древнюю высохшую балку, куда ветер и весенние воды отложили тонкий прах, собранный с обширных нагорных полей. Шествие спустилось с верхних земель и теперь шло по праху в долине, направляясь к битой дороге.

Впереди шел обросший седой шерстью, измученный и по-черневший поп; он пел что-то в жаркой тишине природы и махал кадиллом на дикие, молчаливые растения, встречавшиеся на пути. Иногда он останавливался и поднимал голову к небу в своем обращении в глухое сияние солнца, и тогда было видно озлобление и отчаяние на его лице, по которому текли капли слез или пота. Сопровождавший его народ крестился в пространство, становился на колени в пыльный прах и кланялся в бедную землю, напуганный бесконечностью мира и слабостью ручных иконных богов, которых несли старые заплаканные женщины на своих отрожавших живо-тах. Двое детей — мальчик и девочка, — в одних рубашках и босые, шли позади церковной

толпы и с интересом изучения глядели на действия взрослых; дети не плакали и не крестились, они боялись и молчали.

Около дороги находилась большая яма, откуда когда-то добывалась глина. Шествие народа остановилось около той ямы, иконы были поставлены ликами святых к солнцу, а люди спустились в яму и прилегли на отдых в тень, под глинистый обрыв. Поп снял ризу и оказался в штанах, отчего двое детей сейчас же засмеялись.

Большая икона, подпертая сзади комом глины, изображала деву Марию, одинокую молодую женщину, без бога на руках. Я всмотрелся в эту картину и задумался над ней, а богомольные женщины расселись в тени и уже занялись там своим делом — они искали одна у другой в голове.

Бледное, слабое небо окружало голову Марии на иконе; одна видимая рука ее была жилиста и громадна и не отвечала смуглой красоте ее лица, тонкому носу и большим нерабочим глазам — потому что такие глаза слишком быстро устают. Выражение этих глаз заинтересовало меня — они смотрели без смысла, без веры, сила скорби была налита в них так густо, что весь взор потемнел по непроницаемости, до омертвения и беспощадности; никакой нежности, глубокой надежды или чувства утраты нельзя было разглядеть в глазах нарисованной богоматери, хотя обычный ее сын не сидел сейчас у нее на руках; рот ее имел складки и морщины, что указывало на знакомство Марии со страстями, заботой и злостью обыкновенной жизни, — это была неверующая рабочая женщина, которая жила за свой счет, а не милостью бога. И народ, глядя на эту картину, может быть, также понимал втайне верность своего практического предчувствия о глупости мира и необходимости своего действия.

Около иконы сидела усохшая старуха, ростом с ребенка, и невнимательно смотрела на меня темными глазами; лицо и руки ее были покрыты морщинами, точно застывшими судорогами страдания, а во взгляде был зоркий ум, прошедший такие испытания жизни, что старушка, наверно, знала про себя не меньше целой экономической науки и могла бы быть почетным академиком.

Я спросил у нее:

— Бабушка, зачем вы ходите, молитесь? Бога же нет совсем, и дождя не будет.

Старушка согласилась:

— Да и наверно, что нету, — правда твоя!

— А на что вы тогда креститесь? — спросил я ее далее.

— Да и крестимся зря! Я уж обо всем молилась — о муже, о детях, и никого не осталось — все померли. Я и живу — то, милый, по привычке, разве по воле, что ли! Сердце — то ведь само дышит, меня не спрашивает, и рука сама крестится: Бог — беда наша... Ишь убытки какие — и пахали, и сеяли, а рожон один вырос...

Я помолчал в огорчении.

— Не молитесь, бабушка, лучше никому. Природа не слышит ни слов, ни молитвы, она боится только разума и работы.

— Разума! — произнесла старуха с ясным сознанием. — Да я столько годов прожила, что у меня разум да кости — только всего и есть! А плоть давно вся в работу да в заботу спущена — во мне и умереть-то мало чему осталось, все уж померло помаленьку. Ты погляди на меня, какая я есть!

Старуха покорно сняла платок с головы, и я увидел ее облысевший череп, кости которого обветшали, готовые уже развалиться и предать безвозвратному праху земли скупко скопленный терпеливый ум, познавший мир в труде и бедствиях.

— Придет зима, я и соседу пойду поклонюсь, — сказала старуха, — и у богача в сенцах поплачу: все, может, пшена подживусь до лета, а летом уж погибелью своей буду оплачивать — за мешок полтора мешка, да отработки четыре дня, да почету ему на пять мешков...

Разве мы богу одному только кланяемся — мы и ветра боимся, и гололедицы, и ливня, и суши, и соседа, и прохожего человека, — и на всех крестимся! Разве мы молимся оттого, что любим! Нам и любить — то нечем уж!

Я отошел прочь от старухи, исполненный скорби и размышления. Толпа народа начала собираться с отдыха, и весь крестный ход, молившийся о дожде, направился назад на деревню. Осталась лишь одна старуха, говорившая со мною.

Старуха желала еще немного передохнуть, и все равно бы она теперь не поспела идти за людьми на своих детских уставших ногах, когда народ пошел спешно, по-деловому, — и сам поп уже шагал в штанах.

Увидев ее состояние, я поднял старуху к себе на руки и понес ее к деревне, как восьмилетнюю девочку, сознавая всю вечную ценность этой ветхой труженицы.

В деревне у одной попутной избушки старушка сошла с моих рук. Я попрощался с нею, поцеловав ее в лицо, и решил посвятить ей свою жизнь, потому что в молодости всегда кажется, что жизни очень много и ее хватит на всех старух.

Верховка оказалась небольшой деревней — дворов не более тридцати, но исправных изб в ней было мало; жилища обветшали и уже гнивали нижними венцами срубов в земле. Военный империализм, прошедший по всему миру, сделал все видимое, все добытое, устроенное и сбереженное поколениями тружеников похожим на погост.

Мальчик, которого я затем навеки потерял из виду, с охотой провел меня на электрическую станцию, работавшую в полверсте от деревни — около общественного водопоя на проезжем тракте.

Английский двухцилиндровый мотоцикл фирмы «Индиан» был врыт в землю на полколеса и с ревущей силой вращал ремнем небольшую динамо — машину, которая стояла на двух коротких бревнах и сотрясалась от поспешности работы. В прицепной коляске сидел пожилой человек и курил сигарку; тут же находился высокий столб, и на нем горела электрическая лампа, освещающая день, а кругом стояли подводы с распряженными лошадьми, евшими корм, и на телегах сидели крестьяне, с удовольствием наблюдавшие за действием быстроходной машины; некоторые из них, худые по виду, выражали открытую радость; они подходили к механизму и гладили его, как милое существо, улыбаясь притом с такой гордостью, точно они принимали участие в этом предприятии, хотя сами были нездешние.

Механик электростанции, сидевший в мотоциклетной коляске, не обращал внимания на окружающую его действительность: он вдумчиво и проникновенно воображал стихию огня, бушующую в цилиндрах машины, и слушал со страстным взором, как музыкант, мелодию газового вихря, вырывающегося в атмосферу.

Я громко спросил у механика, зачем он работает сейчас впустую, ради одной лампочки на столбе, и зря тратит топливо и машину.

— Не зря, — равнодушно сказал механик; он вышел из прицепа и попробовал ладонью подшипник у динамо — машины около большого самодельного деревянного шкива, которым она вращалась.

— Не зря, — сообщил механик. — Мы работаем вечером, а сейчас мы только пытаем машину и крутим ее впрок, чтоб все части у нее пригартовались и привыкли друг к другу. И перед проезжим народом нам надо похвастаться — это, стало быть, будет агитация. Пусть люди любят!

В словах механика об опытной работе установки было дельное соображение, потому что мотоциклетный мотор был старой машиной, пережившей дороги войны, и некоторые заводские части, наверно, в нем заменяли деталями, сделанными в местной кузнице от руки, и нужно было эти части испытать и дать им приработаться.

Я молча изучил устройство электростанции, не обращаясь более к задумчивому механику. Под сиденьем мотоцикла я прочел номер машины: Е-О-401, а под тем номером имелась еще мелкая английская надпись, означавшая в переводе воинскую часть «77-й британский королевский колониальный дивизион».

Провода от электростанции на деревню шли под землей, в глухом кабеле, и вечером, должно быть, торжественно сияли окна деревенских избушек, охраняя от тьмы революцию.

Механик подошел ко мне и протянул кисет с табаком.

— Покури, лучше будет, — сказал он мне. — Что смотришь? Наверно, на молотилке работал и думаешь, что в моторах понимаешь?

— На молотилке работать не приходилось, — ответил я и сам спросил деревенского машиниста: — Чем топите машину?

— Хлебным спиртом, чем же, — вздохнув, сказал механик. — Гоним самогон особой крепости, тем и светим.

— А смазка? — интересовался я далее.

— Чем придется, — ответил человек. — Что сыщешь, профильт-руешь через тряпку, тем и смазываешь.

— Хлеб-то жалко ведь жечь в машине, — сказал я — не стоило бы?

— Хлеба жалко, — согласился механик. — А что сделаешь: другого газу нету.

— А чей хлеб это вы на газ переводите?

— Народа, чей же, общества, — пояснил машинист. — Собрали фонд по самообложению, а теперь берем из фонда и еще кой-откуда...

Я удивился, что крестьяне столь охотно стравляют хлеб прошло-годнего урожая в машину, когда в нынешнее лето хлеб от засухи совсем не уродится.

— Это ты народа нашего не знаешь, — медленно говорил механик, все время вслушиваясь в работу машины, от которой мы стояли теперь в удалении, у коновязи. — Раз есть нечего, то и читать, что ль, народу не надо!.. У нас в Верчовке богатая библиотека от помещика оста-лась, крестьяне теперь читают книги по вечерам, — кто вслух, кто про себя, кто чтению учится... А мы им свет даем в избы, вот у нас и получается свет и чтение. Пока другой радости у народа нету, пусть будет у него свет и чтение.

— Если б машину топить не хлебом, то было бы еще лучше, — советовал я. — Тогда у вас получились бы хлеб, свет и чтение. Механик поглядел на меня и скрыто, но вежливо улыбнулся.

— Ты не жалея этого хлеба: он все равно мертвый, не едоцкий... Тут кулак у нас жил, Чуев Ванька, — он с белыми всем семейством ушел, а хлеб зарыл в дальнем поле. Так мы его хлеб с товарищем Жареновым целый год искали, а когда нашли, так зерно уже задохнулось и умерло: на еду оно тухлое, на семена вовсе негоже, а на спирт, на вредную химию эту, оно пойдет.

— А ведь там сколько ж было?

— Да пудов без малого четыреста! А фонд по самообложению и взаимопомощи мы еще и не трогали: как был, так и есть — двадцать пудов. Наш председатель оттуда крошки тебе не подарит, пока и вправду с голода не опухнешь. Да ведь иначе и нельзя, а то...

И здесь механик прервал свою речь и бросился к электрической станции, потому что ремень соскочил со шкива динамо-машины. Я же обратился к деревне Верчовке и направился туда. На околице деревни сильно и безостановочно дымила печная труба, и я пошел в ту избу, которая столь жарко топилась в летний день. Изба, судя по двору и воротам, была выморочная или бесхозная. Ворота заросли, на дворе поселился жесткий, зачумленный бурьян, терпящий одинаково и жару, и ветры, и ливневые потоки и выживающий всегда.

Внутри избы я увидел печь, и в нее был вделан самогонный аппарат. Печь топилась корневищами, а у исходной трубки аппарата сидел на табуретке веселый, блаженный старик, освещенный пламенем, с кружкой в правой руке и с куском посоленной картошки в левой: старик, должно быть, ожидал очередного выхода безумной жидкости, чтобы попробовать ее — годится ли она для горения в машине или слаба еще. Собственный желудок и кишки старика — дегустатора были прибором для испытания горючего.

Я вышел во двор избы, чтобы увидеть электрическую линию, потому что на улице ее не было. Линия шла через дворы; крюки изоляторов были укреплены в стенах надворных построек, в редких ветлах или просто были завинчены в большие, наращенные один на другой кольца

плетней, и оттуда уже шли местные ответвления проводов в жилые горницы и дворовые службы. В этой местности, лишенной леса, нельзя было найти столбов для устройства обычной уличной сети. И с хозяйственной, а также с технической точки зрения подобное решение вопроса электропередачи было единственно-но возможное и правильное.

Однако, опасаясь пожара от неправильной проводки воздушной линии, я пошел по дворам, перелезая через плетни и слеги, огораживающие соседские владения, и всюду осмотрел снаружи подвеску и крепление магистральных проводов. Натяжка линии была хорошая, и провода нигде не проходили близко от соломы или прочих ветхих и горючих веществ, способных затлеть от нагревания их токонесущей медью.

Успокоившись насчет пожара, я нашел прохладное укромное место в тени одного овина и уснул там для отдыха.

Но, еще не отдохнув как следует, я вынужден был проснуться, потому что меня кто-то толкал ногою и будил.

— Не время сна, не время спать, пора весь мир уж постигать и мертвых с гроба поднимать! — произнес неизвестный человек надо мною.

Я в ужасе опомнился; поздняя жара солнца, как бред, стояла в природе. Ко мне наклонился человек с добрым лицом, морщинистым от воодушевленного оживления, и приветствовал меня рифмованным слогом, как брата в светлой жизни. По этому признаку я догадался, что предо мною был делопроизводитель местного сельсовета, писавший отношение в губисполком.

— Вставай, бушуй среди стихии, уж разверзается она, большевики кричат лихие и сокрушают ад до дна!

Но у меня тогда была в уме не поэзия, а рачительность. Поднявшись, я сказал делопроизводителю про мотоциклетную электростанцию и про то, что необходимо достать где-либо насос.

— Мне ветер мысли все разнес, — ответил делопроизводитель, — и думать здесь я не могу про... А дальше как? — спросил он вдруг у меня.

— Про твой насос! — добавил я ему на помощь.

— Про твой насос!.. Пойдем ко мне в мою усадьбу, — продолжал делопроизводитель во вдохновении сердца, — ты мне расскажешь не спеша: могилы ждешь ты или свадьбы и чем болит твоя душа.

В сельсовете я с точностью изложил делопроизводителю деревни свой план, который касался орошения сухой земли водою, чтобы прекратить крестные походы населения за дождем.

— Провижу я чело твое младое! — воскликнул делопроизводитель. — В ответ гремит тебе отсюда, — он показал на грудь, — сердце боевое!

Я спросил его:

— У вас есть общественная огородная земля, чтоб там не было многих хозяев?

Делопроизводитель без размышления сразу дал справку:

— Земля такая есть. Она была коровья. Теперь же стала вдовья и отведена семействам — как их такое?.. — сбился он вдруг. — Семействам больраненых красноармейцев! — сказал добавочно Делопроизводитель.

— В ней сорок десятин — Там пашет, жнет и сеет орган власти — сельсовет! Там было раньше староселье, теперь же пустошь, зато осталось удобренье и злак растет, как дым зимой из труб. Ну, а теперь, конечно, все засохло — нам без воды и солнце ни к чему!

Я сообразил, что, может быть, мотоциклетной силы не хватит для увлажнения водою сорока десятин, но все же решил полить хоть часть этой наиболее бедняцкой земли — вдовьей и красноармейской.

Делопроизводитель, услышав такое мое предложение, не мог больше выразиться и тут же заплакал.

— Это я от стечения обстоятельств, — сказал он немного погодя, не употребляя стихов.

В течение двух последующих дней делопроизводитель, механик мотоциклетной электростанции и я трудились над установкой мотоцикла на новом месте — на берегу маловодной речки Прошвы, которая слабо текла куда-то в обмороке жары. Здесь, начинаясь с берега, была вдовья и красноармейская земля, обрабатываемая сельсоветом на общественных лошадях. Несмотря на плодородие низинных угодий, сейчас там росли только редкие посадки карто-феля, а за ними — мелкие просяные колосья; но все растения были в изнеможении, они покрылись смертельной пылью знойных вихрей и клонились вниз, чтобы вернуться обратно в темноту праха и сжаться в свое первоначальное семя, уже мертвое теперь.

В этих же посевах с терпением росли купыри, репей, бледные цветы «златоуста», похожие на лицо человека с выражением сумас-шествия, и прочие плевелы, которыми всегда зарастает земля во время действия сухих стихий.

Я попробовал почву; она была как зола, перегоревшая на лице, и первый же ураган способен был поднять всю пыль плодородия и развеять ее бесследно в пространстве.

После установки мотоцикла мы с делопроизводителем задумались о насосе. Мы поискали его по сараям зажиточных мужиков, грабив-ших помещиков с наибольшим хладнокровием и жадностью, и нашли там много добра, даже картины Пикассо и женские мраморные биде, а никакого насоса не было.

— Потеха жить и наслаждаться, — сказал мне делопроизводи-тель, — насоса нет, но есть любовь и чашка, чтобы обмываться.

Подумав, я снял толстую железную бляху с мотоцикла, обозначавшую английскую интервенционную воинскую часть, и вырезал из нее в кузнице две лопасти. Затем по приказу делопроиз-водителя была раскрыта железная крыша с дома сельсовета, и то железо пошло на изделие остальных пяти лопастей, а также кожуха для насоса, трубы для всасывания и лотков для подачи воды на поле.

Еще трое суток мы с механиком электростанции поработали у мотоцикла, пока не посадили семь лопастей на спицы заднего колеса машины и не обрядили колесо в кожух. Таким образом мы соорудили центробежный насос из колеса мотоцикла. Мы организо-вали водокачку вместо электрической станции; однако насос ничему не помешал: когда вода не потребуется земле, можно опять вертеть динамо и давать свет в избушки.

Через пять дней мучительного труда без нужных инструментов и материалов, среди полевого неустройства, я и механик пустили мотор мотоцикла, и вода пошла на землю вдов и красноармейцев, но поток ее был слишком слаб — ведер сто в час, и необходимо было еще развезти воду по всем посевам, что требовало усердия населения. Кроме того, некоторое количество воды терялось из неплотных соединений наших самодельных лотков, что дополни-тельно нас огорчало. Однако делопроизводитель не огорчился на это и сказал:

— Пускай наука только каплю даст, мы выжмем море туловищем масс!

На другой день делопроизводитель и двадцать женщин с четырь-мя пожилыми мужчинами-бедняками повели воду под лопату в глубь полей, но ручей воды иссох уже невдалеке от водокачки. Из расщелин земли, пугаясь влаги, полезли ящерицы, пауки, сухие членистые черви неизвестной породы и твердые мелкие насекомые, точно сделанные из меди, — они, следовательно, и должны наследо-вать землю, если тучи не соберутся в атмосфере, а люди вымрут.

Вдовы и замужние беднячки окружили нас и начали ругать за недостаток воды и за бедную силу машины. Мы выслушали их со стыдом, но без боязни, а делопроизводитель произнес им в утешение заключительное слово. Он глядел в туманное, томительное небо одичалого лета и говорил с просветленным лицом среди тишины ослепительной страшной природы:

— Все сохнет, лопается прочь — и почва, и трава!.. А жить охота во всю мочь, поскольку есть у человека голова. Она прибавлена вдобавок нам не зря... Нет, потому мы не железо, не скотина, не дресва, что надо нам всю жизнь стерпеть — и без победы нипочем не умереть!..

Делопроизводитель устал от жары и страдания, но лицо его стало теперь иным — ясным и задумчивым, хотя и не потеряло доброты своих складок. И он сказал прозой бабам — вдовам, смот-ревшим на него с удивлением и улыбкой сочувствия:

— Ступайте, женщины, копать канаву дальше. Машина эта — интервентка, она была за белых, теперь ей неохота лить воду в пролетарский огород...

Механик с жадностью страстного размышления наблюдал напря-женную работу мотора; машина шла на сбавленных оборотах и тяжело упыхивалась от перегрузки. Я ощупал все тело машины — оно сильно грелось и мучилось, крепкий самогон взрывался в цилиндрах с жесткой яростью, но плохое смазочное масло не держалось в трущихся частях и не обволакивало их облегчающей нежной пленкой. Мотор трепетал в раме, и неясный тонкий голос изнутри его механизма звучал как предупреждение о смертельной опасности.

Я понял машину и прекратил ее злобный сухой ход. Затем мы сняли кожух с колеса, служившего центробежным насосом, убавили число лопастей на колесе с семи до четырех и опять надели кожух. Я хотел разгрузить мотор, чтобы он дал лучшую скорость, и тогда четыре лопасти будут работать сильнее семи.

В это время настал вечер; все люди ушли на отдых, только товарищ Жаренов и я остались сидеть на берегу слабеющей, сочащейся реки. Я не спешил снова запускать мотор. Я хотел догадаться еще о чем-нибудь для более свободного движения машины.

Солнце зашло в раскаленном свирепом пространстве, а внизу на земле наступила тьма и остались озабоченные люди с трудным чувством в сердце, поникшие в своих избах без всякой защиты от беды и смерти. Вскоре к делопроизводителю пришли его дети — мальчик и девочка, — те самые, которых я видел в крестном ходе о дожде. Они оголтели от голода и бесприютности и бросились к отцу, радуясь, что нашли его и будут ночевать вместе с ним в страшной душной темноте; хлеба они уже не просили, радуясь тому, что хоть есть у них отец, который их любит и сам ничего не ест. Отец прижал к себе слабые тела своих детей и стал искать в карманах чего-нибудь, чтобы покормить их, но находил лишь мусор и отношения волисполкома. Тогда делопроизводитель решил успокоить детей своей теплотой; он обнял их обоих громадными неписчими руками, приблизил к своему теплomu животу, и все трое заснули на ночной земле. Наверно, у этих детей мать была умершая, и они жили сиротами около своего отца.

Я догадался, что мне надо сделать: нужно свернуть из пакли фитиль, опустить его одним концом в бачок с водой и обмотать фитилем цилиндры мотора, — тогда вода будет сочиться по фитилю, а машина почувствует прохладу и даст лишнюю мощность. Я нашел паклю в прицепной коляске, в ящике механика, и к полночи совершил работу до конца. Затем я подошел к спящему семейству Степана Жаренова и не знал, что делать — качать ли воду, чтобы обеспечить хотя бы на осень пищу этим детям, или подождать, потому что дети проснутся от шума мотора и немедленно начнут мучиться без еды.

Вскоре мне пришлось обернуться к деревне — там раздался взрыв какой-то бочки, а потом шипение пара, и стало тихо. Делопроизводитель проснулся, поднял спящую голову, сказал стих: «Дети в мозгу кричат “агу”», и снова уснул.

Учитывая крепкий сон семейства, проспавшего взрыв бочки, я пустил мотор. В черные уголья пошел толстый поток воды из устья нагнетательной трубы; мотор теперь вращался на хороших оборотах, грелся мало и не пел мучительным голосом утомления из глубины своего жесткого существа. Я тихо ходил вокруг бьющейся в напряжении машины и с удовлетворением наблюдал спокойное течение ночи в мире; пусть время теперь идет, оно проходит не напрасно: машина надежно качает воду в сухие поля бедняков.

Я смерил ведром подачу воды в минуту времени — оказалось, что насос теперь дает около двухсот ведер в час, в два раза больше прежнего. В кармане я нашел сухой кусочек городского хлеба и стал есть его, стараясь закончить еду поскорее. Втайне от самого себя я боялся внезапного пробуждения детей делопроизводителя, которые обязательно попросят у меня пищи... Уже дожевывая, я наклонился к детям — они смутно и неравномерно дышали в своем

скучном сне, смирившем в них страдание голода. Только отец их лежал со счастливым, обычно приветливым лицом: он господствовал над своим телом и надо всеми мучающими силами природы; магическое напряжение гения беспрерывно радовало его сердце, верующее в могучую долю пролетарского человечества.

Видимо, что-то переполнило сознание делопроизводителя. Он нечаянно открыл глаза, увидел, что я чего-то дожевываю, и сразу сказал, как неспавший:

— Пора не только жизнь страдать, но также хлеб во рту жевать...

Я в испуге проглотил остаток пищи и задумался. Из темноты речной долины вышли к машине два человека — выпавшийся механик и незнакомая старушка большого роста.

— Идите вот теперь, — сказала старушка, — идите мужика моего подымайте: мужчина весь обмер, свалился, и сердце в нем не стучит. Все для вас, чертей, кофей этот варил...

Я равнодушно обратился к механику мотоцикла, учась быть хладнокровным среди событий. Механик представил старушку как жену старичка, который варит круглые сутки самогон специ-альной крепости для снабжения мотора. Ввиду отсутствия прибора, измеряющего градусы крепости, старичок обычно брал в одну руку кружку, в другую — кусок посоленной закуски, что-нибудь вроде картошки, и ожидал со своей посудой у отводящей трубки змеевика, пока оттуда закапает. Но нынче старичок не сразу раскушал качество топлива; он завернул кран на трубке, подложил дров в огонь и заснул с опорожненной кружкой и картошкой в руках; котел накопил давление, взорвался, и мощный газ выбросил старичка из самогонной избушки вместе с дверью и двумя окон-ными рамами. Сейчас старик лежит и постепенно опоминается, а завтра начнет ремонт взорвавшейся установки.

— Чего же вы хотите? — спросил я у старушки. — Это авария, а мы здесь ни при чем.

— Льготы какой-нибудь, — ответила бранившаяся старуха.

— Хорошо, я запишу.

Я вынул записную книжку и написал там: «Пришли из города старушке пшена».

Старуха, только увидя, что я что-то записываю, сразу поверила мне и утешилась.

Я сказал механику устную инструкцию об уходе за мотором и насосом, постоял немного возле спящего на земле делопроизводителя Жаренова и его детей, а затем пошел пешком, по теплой ночи к себе домой, к своей матери. Я шел один в темном поле, молодой, бедный и спокойный. Одна моя жизненная задача была исполнена.

## РАССКАЗ НЕ СОСТОЯЩЕГО БОЛЬШЕ ВО ЖЛОБАХ

Звездов много, молонья сверкует — сколь неизречимы чудеса природы. В городах — машины, сияющие ночью улицы, умные вразумительные люди, вкусные вещества и прочее. А в полях — география, звездный свет, тихий ход рек, дыхание почвы, речь пахаря с встающим солнцем.

Миллиарды лет жили до меня мои предки — неглупые старики.

Их жизнь и работа запечатлелись в голове моей. Я — живой памятник своих предков и их завет и надежда. И то в этой голове, которая делалась миллионы веков, не хватает силы узреть весь мир, уложить его в сердце и сделать лучшим, чем он есть.

Имеем лишь слово — инструмент нежный и из слов сплетаем и перекидываем тростниковые мосты меж своими живыми душами.

Хорошо в мире, без сомнения. Обжился я, притерпелся, а давно ли ставить ноги прямо вкрутую не мог, а полз корягой, верил всему, что видимо и не видимо.

И все таковые же были из нашей Тарараевки — невидный обглоданный народ, не помнящий, как называется их уездный город или другой какой правительственный пункт.

Помню в Красную армию нас забрали. Приехали в Москву. Измордовались наши ребята в дороге. Слезли и очумели — ну, теперь мы пропали. Кто что спросит, а мы:



— А? Што? А?

— Откуда, земляки?

— А? Што?

Стоят дома, несоразмерные с человеком. Идет человек, крутит тростью и лопочет неведомо что. Играет где-то жалостная музыка. Жутко и чудно нам. Далеко остались матери и сестры — жалко их стало, зря дома не любили их как следует.

И тут чепуха с нами пошла. Старые красноармейцы смеются над нами: пропали, говорят, теперь вы, товарищи. Лучше загодя проси у товарища Троцкого отпуска на побывку — вон он в клубе, ступай. Пришли мы, человека три, в клуб.

— Вон, — показывают, — товарищ Троцкий.

— Дак тож видимость одна, — говорим мы, — партрет.

— Нет, — отвечают, — это не видимость, это у буржуев видимость и обман один, а у нас, у пролетариев, — правда и живая личность. Проси отпуска.

— Мы разом:

— Товарищ Троцкий, дозвольте домой на деревню к отцу-матери на побывку, вскорости возвратимся, а теперича надобно домой...

А товарищ Троцкий отвечает басом:

— Что ж вы, товарищи, аль дезертировать захотели. Не успели приехать, уж побывку вам.

— Да мы, товарищ Троцкий, не привыкли еще и по дому соскучились...

— Ну, ступай, несознательный элемент, да живее оборачивайся, стало быть. Не распускайся в дороге: мажь сапоги, пуговицы пришивай, не будь рохлей, ты ведь будущий красный воин.

— Покорно благодарим. Уж будьте покойны.

Собрались мы и уехали. Командир наш дал нам по тыще даже: от товарища, говорит, Троцкого на харчи и табак, теперь вали смело. Такого уважительного товарища, должно, на свете еще не было.

— Ну-с, через месяц нас троих же, четвертый на поезд не сел, взяли в волость как дезертиров.

Тут-то я до всего дознался: вспом-нил, как похохатывал командир, когда давал нам по тыще, как у товарища Троцкого губы не шевелились при разговоре. Не живая личность, а живая картина была в клубе и за картиной сидел и рычал командир наш.

Ну, ничего. Приехавши в Москву, мы окончательно определились на красноармейскую службу. Сажать нас не посадили, а посмеялись и сказали: дураки вы, товарищи, надо ликвидировать вашу безграмотность и пройти с вами политграмоту. Вали каждый на свое место — думай больше и гляди глазами.

Ничего себе настало время — люди все ласковые и свои.

А через месяц я все-таки женился, не потому, что надобность особая была, а давали мануфактуры, самовар, койку большую, скатерти, посуду всякую, обмоблирование и прочий семейный причиндал.

И отправил я супругу со всем казенным имуществом к родне — и радость, и помощь. Теперь я понимаю политику и во жлобах не состою.

## ЖЕНА МАШИНИСТА

Он возвратился домой к своей жене, серьезный и печальный. Он был в поездке, в пурге и на морозе почти сутки, но усталости не чувствовал, потому что всю жизнь привык работать.

Жена ничего сначала не спросила у мужа; она подала ему таз с теплой водой для умыванья и полотенце, а потом вынула из печки горячие щи и поставила самовар.

За ужином они сидели молча. Муж медленно ел щи и отогревался, но на лицо по-прежнему был угрюмым.

— Ты что это, Петр Савельич? — тихо спросила жена. — Иль случилось что с ним, боль и поломка какая?

— У него палец греется... — сказал Петр Савельич.

— Который палец? — в тревоге спросила жена. — В позапрошлую зиму он тоже грелся — тот или другой какой?

— Другой, — ответил Петр Савельич. — На третьем колесе у левой машины. Всю поездку мучился, боялся, что в кривошипе получилась слабина и палец проворачивается на ходу. Мало ли что может быть!

— А может, Петр Савельич, у тебя там на дышле либо в шатуне масло сорное! — сказала жена. — Ты бы заставил помощника профильтровать масло иль сам бы попробовал. Я тебе в другой раз чистую тряпочку дам. А этак-то куда ж оно годится...

Петр Савельич положил деревянную ложку на хлеб и вытер усы большой старой рабочей рукой.

— Плохое масло я, Анна Гавриловна, не допущу. Плохое я сам лучше с кашей съем, а в машину всегда даю масло чистое и обильное, зря говорить нечего!

— А палец-то ведь греется! — упрекнула Анна Гавриловна. — Глядишь, он погрееется-погрееется, а потом и отвалится, вот и станет машина калекой!

— Пока я жив буду, пока я механик, у меня ничего не отвалится, — ни в ходу, ни в покое.

— Да ну уж — ничего у тебя не отвалится! — осерчала Анна Гавриловна. — Спасибо, что тормозами вовремя состав ухватил, а то бы сколько оставил сирот — ведь пассажирский вел, двадцать седьмой номер-бис... Ешь уж щи, доедай начисто, а то прокиснут...

Петр Савельич вздохнул и доел щи.

— Колеса с паровозных осей не соскакивают, — сказал затем механик. — Это заблуждение. У Ивана Матвеевича бандаж на ходу ослаб. А бандаж, Анна Гавриловна, это не целое колесо, отнюдь нет, Иван Матвеевич тут ни при чем: машина вышла из капитального ремонта, и бандаж в ремонте насадили недостаточно.

— А у тебя бы он тоже соскочил? — попытала Анна Гавриловна.

Петр Савельич подумал и решил:

— У меня нет, у меня едва ли! Я бы учуял дефект.

— Ну и вот, а я про что же говорю! — довольно под твердила Анна Гавриловна.

— Что — вот? — удивился Петр Савельич. — Мне шестьдесят два года осенью сравнялось, а тебе пятьдесят четыре, а ты мне «вот» говоришь... Стели мне постель, я хоть спать и не буду, а так полежу.

Анна Гавриловна начала стелить кровать мужу и себе.

— Уснешь, — говорила она, взбивая подушки, чтобы они стали пышными и покойными для сна. — Чего тебе не спать: должно, все тело затомилось на такой работе-то. Шутка сказать, а ведь ты у меня, Петр Савельич, механик! Ляжешь вот тут и уснешь. Перина у нас мягкая, одеяло теплое, в комнате тихо, — чего тебе нужно-то!

— Ничего мне не нужно, Анна Гавриловна, — кротко сказал механик. — Я думаю, что палец в машине болит... А сейчас ночь, темно, мой напарник тяжеловесный состав ведет, думает ли он чего или просто глядит вперед, как сыч!

Анна Гавриловна постелила кровать и тоже загоревала было, но скоро отошла от горя.

— А ты не вдавайся в тоску, Петр Савельич, может быть, ничего и не случится. Он, палец тот, сначала погрееется, а потом приработается — и греться перестанет: железо тоже свыкается друг с другом — терпит...

— Да какое там железо тебе! — негодуяще выразился Петр Савельич. — Тридцать лет с механиком живешь, а все малограмотная, как кочегар в банной котельной...

Анна Гавриловна здесь промолчала; она понимала, когда надо слушать своего мужа и когда наставлять его.

Они легли спать и лежали молча. Петр Савельич слушал — не усиливается ли ветер на дворе, не начинается ли снова пурга, которая недавно улеглась, но в мире пока что было мирно и спокойно. Медленно шли стенные часы над кроватью, грустный сумрак ночи протекал за окном навстречу далекому утру, и стояла тишина времени.

Семья Петра Савельича была небольшая: она состояла из него самого, его жены и паровоза серии «Э», на котором работал Петр Савельевич. Детей у них долго не было: родился давно один сын, но он жил недолго и умер от детской болезни, а больше ребят не было. И теперь даже младенческий образ сына уже стусшеван был в памяти родителей: время, как мрак, покрыло его и удалило в свое забвение...

Петр Савельич прислушался. Ночь шла тихо, но где-то в сених или во дворе осторожно треснула древесина, сжимаемая морозом. Снаружи, наверно, сейчас холод сгущал ночную изморозь и видимость ухудшалась, — интересно, но трудно было в эту пору вести машину с тяжеловесным составом на тендерном крюке. У напарника Петра Савельича помощником работал молодой человек, просто юноша по имени Кондрат. Сколько ему могло быть лет? Лет, должно быть, девятнадцать-двадцать. Столько же, пожалуй, что и сыну Петра Савельича и Анны Гавриловны, если бы он жил на свете.

Петр Савельич привстал на постели: тревожное предчувствие еще прежде ясной мысли обеспокоило его сердце. Он укрыл жену одеялом, чтоб она не проснулась, сошел с кровати и начал одеваться. Но Анна Гавриловна проснулась, как только Петр Савельич чуть пошевелился: она привыкла следить за мужем и тихо думала о нем все дни и ночи, чутко ощущая еще слышный запах машины от его волос и одежды, когда муж был дома, и воображая его про себя, когда он находился в поездке.

— Куда тебя домовой несет? — спросила Анна Гавриловна. — Метель утихла, палец в машине притерпелся, — чего тебе там за всех стараться? Там без тебя есть народ!

— Народ там есть, Анна Гавриловна, а меня там нет, — с терпением сказал Петр Савельич. — А без меня народ неполный!

— Да то как же! — рассердилась Анна Гавриловна. — Без тебя ведь весь свет пустой! А завтра, что ж, ты не спавши, значит, в рейс поедешь? Ну что ж, поезжай не спавши, — может, в хвост другому составу наедешь либо весь паровоз на куски изувечишь, — тебя в тюрьму посадят, а я с тоски помру... Вот оно сразу все и кончится!

— Будет тебе свои нервы портить, — произнес Петр Савельич. — Там помощником нынче Кондрат поехал, малый молодой, просто еще юноша, и скоро им в обратный конец ехать...

— Ну и что тебе Кондрат, малый молодой? — спросила Анна Гавриловна.

— А то, — сказал Петр Савельич, снарядившись в дорогу, — а то, что им в обратный конец четыре затяжных подъема надо одолеть. Там нужно силу тяги держать точно по котлу, чтоб сколько ты ни ехал, сколько ни тянул, а у тебя все в котле и давление пара не падало, и уровень воды особо не понижался, — вот как надо котел содержать, понятно тебе стало?

— А чего ж тут и понимать-то? — сказала Анна Гавриловна. — Машина должна идти неугомонно, а пар упустишь, то она запыхается и станет...

— Ну вот, вроде верно, только неправильно: чем ей пыхать-то? — ответил Петр Савельич. — А Кондрат котел по тяге не удержит. Машину он любит, но знает в ней далеко не все. Да одну машину — это знать мало. Надо видеть всю целую природу — и погоду, и что у тебя на рельсах: мороз или жарко, и подъемы надо знать наизусть, и машина как себя чувствует сегодня...

— Пусть уж они без тебя там знают! — сообщила Анна Гавриловна. — Только нагрелся, а уж вылез! Окоченеешь наружи!

— Я у котла согреюсь, — пообещал механик. — Скоро рабочий поезд пойдет, я на нем и встречу свою машину на четвертом разъезде: там подъем такой, что станешь врастяжку и состав порвешь...

— Ты хоть еды-то возьми с собой, шут непокойный! — попросила жена.

— Я в буфете на вокзале пожую, — ответил Петр Савельич. — Ты спи себе в тепле и покое.

— С вами уснешь! — сказала Анна Гавриловна. — Выдаете покой, старые черти...

Но Петр Савельич уже гремел щеколдой в сенях, уходя в зимнюю ночь; он не обижался на жену.

Возвратился домой Петр Савельич не скоро — к вечеру следующего дня. Он пришел вместе с Кондратом, молодым стесняющимся человеком, помощником машиниста.

Анна Гавриловна только поглядела своими знающими и чувствующими глазами на пришедших, но ничего не сказала и молча стала собирать им еду на стол.

— Мойтесь, чумазые тудящиеся! — пригласила она затем. — Вам бы и есть-то давать не надо: по вас вижу — поломали вы машину... Всё тяжеловесы они возят и носятся как бешеные, аж рельсы воют. Возили бы потише, полегче, и паровозы бы у вас здоровые были, как упитанные толстые дети! А то ишь — большой клапан придумали!

Петр Савельич и Кондрат оставили речь женщины без ответа. Им нечего было отвечать человеку, чуждому механике. Они помылись и сели за стол, угрюмые и безмолвные. Кондрат ел робко и мало, чувствуя себя в гостях. Петр же Савельич, наоборот, кушал достаточно хорошо и обильно.

— Ешь больше! — говорил он Кондрату. — От пищи горе скорее пройдет, в пище есть своя добрая душа, и когда съешь ее, она в нас очутится...

— Я ем, Петр Савельич, — произнес Кондрат.

— Ешь, — приглашал механик. — Потом спать ляжешь... Анна Гавриловна, постели сыну постель!

Анна Гавриловна вначале обомлела и не могла даже ничего высказать разумного, но потом опомнилась.

— Который сын? — спросила она.

— Кондрат, — указал Петр Савельич. — Мы бездетные, а он без отца, без матери живет. Вот мы и квиты будем, он наш будет, а мы его — и все!.. Стели ему постель на диване и помалкивай!

Анна Гавриловна стала стелить постель Кондрату, но она не помалкивала, а шептала слова про себя: «Паровоз сломал, теперь малого в сыновья привел, ему только и дела, старому, что заботу мне выдумывать!»

Петр Савельич расслышал эти размышления жены, но смолчал.

— А паровоз наш где? — спросила Анна Гавриловна.

Старый механик покряхтел в тягостном чувстве.

— Машина в ремонт пошла! — ответил машинист. — Болящий палец ей вывернули, в топке связи потекли, и песку в песочнице не оказалось... Весь состав стал вращаться на подъеме, его начали рвать вперед эти двое, Кондрат и его механик, и у них вышло происшествие, а тяги не получилось...

— Вот тебе раз! — воскликнула Анна Гавриловна. — Вот так сын Кондрат!

— Как же ты пальца-то не услышал! — угрожающе сказал Кондрату Петр Савельич. — Ведь он стонал и кричал перед тем, как ему повернуться в гнезде!

— Форсировка большая была, — ответил Кондрат. — Гулко было, ничего не слышать...

— Ах так! — произнес Петр Савельич. — Ну ладно, будешь сыном, я тебя научу. А так вы нам все машины покалечите!

Анна Гавриловна поняла своего мужа. Она отвернула одеяло, положенное на диване для Кондрата, и подстелила туда пододеяльник, а подушку сбила в руках для мягкости: пусть Кондрат спит удобно и нежно, если надо его считать сыном, а сердце затем само привыкнет его любить.

Когда Кондрат улегся и засопел в глубоком сне, Петр Савельич и Анна Гавриловна долго стояли над спящим Кондратом, рассматривая его юное, утомленное и доверчивое лицо, открытый рот и закрытые, запавшие глаза.

— Ты паровоз любишь, — произнес старый машинист, — и меня иногда вдобавок, надо и его любить.

Старая жена машиниста молчала.

— Когда я увидел, что машина у них совсем изуродовалась и заболела, — говорил и советовался с женой Петр Савельич, — я поругал машиниста, а Кондрату хотел уши нарвать, но потом передумал: пусть, думаю, живет, я его усыновлю и воспитаю, чтоб из него большой механик вышел...

Затем, вспомнив кое-что, старый машинист добавил:

— Ну вот что, поговорили — хватит. Ты поставь сейчас тесто, а завтра утром оладьев для Кондрата испечешь. Его надо хорошо питать!

— А я хотела бы блинцов напечь, Петр Савельич, — возразила жена.

Тут уж механик не стал спорить со своей женой.

1940

## ДОБРЫЙ КУЗЯ

### 1

До войны, бывало, слабоумный дурачок Кузя ходил по своей деревне Абабково и собирал милостыню хлебом. Он ходил редко, когда уже совсем отощает, был кроток душой и боялся людей. Жил Кузя в избе один, ни родных, ни семейства у него не было, и он лежал обыкновенно на печи в дремоте, терпя свою жизненную участь, пока не ослабевал от голода. Тогда он подымался, брал котомку и шел осторожно по деревне, боясь помешать чем-либо людям. Но люди, увидев бредущего молчаливого Кузю, сами звали его к себе.

— Кузя, иди, хлебца подадим.

Кузя медленно поворачивал к хозяйской избе и бережно брал ломоть хлеба, укладывал его затем осторожно в котомку, чтобы он цел был и не крошился в дороге. Собрав немного, Кузя уже оборачивался идти к себе в избу.

— Кузя, аль ко двору пошел? — спрашивала его хозяйка с крыльца. — Иди хлебушка возьми.

— А мне теперь не надобно, — говорил Кузя в ответ. — У меня его, видишь, полная сума, — когда я его еще поем? Я к тебе потом приду, когда всю милостыню на свою душу потрачу...

— Ишь, вот, какой он у нас! — обижалась и гордилась хозяйка. — Один такой на всю деревню: и даешь, так он не возьмет — не надо, говорит, потом приду. Знать, душа в нем другая, не то, что во всех живет...

Кузя, собрав милостыню, поскорее шел домой, норовя уйти проулками и задами деревни, минуя лицевую улицу. Он сторонился людей, потому что боялся им сделать нечаянное зло каким-либо своим словом или навести их на мысль о печали жизни своим бедным видом; и у него у самого болело сердце от людей, если он долго бывал с ними, словно кровью исходило его неутоленное чувство к ним, и он не знал, как утолить и утешить его. Возвратясь в избу, он забирался на печь, и зимой, и летом, и там плакал, пока не утомлялся и не засыпал. Потом он долгие дни жил в одиночестве, сберегая хлеб, чтобы реже ходить побираться.

Во время войны люди подавать милостыню стали мало. Тогда Кузя начал ходить по ближнему лесу и собирал себе на пропитание грибы. Работать он ничего не мог, потому что на работе надо слушаться людей, а он их боялся и не понимал, и его впечатлительная душа постоянно отвлекалась от всего полезного для его жизни посторонним и ненужным.

Вскоре война подошла близко к деревне Абабково, в которой проживал Кузя. В избе у Кузи поселились на постой красноармейцы, четыре человека. Они ели на глазах у Кузи помногу

казенной еды — хлеб, говядину, выжирки, чухонское масло, разжевывали хрящи и жилы и запивали всю пищу чаем с сахаром, а потом пили отдельно кипяток и заедали его пропеченным хлебом из чистой просеянной муки. Красноармейцы угощали и Кузю, и он тоже ел немного из страха перед ними, потому что они серчали на него, если он стеснялся кушать их еду. Потом в избе у Кузи стали жить еще пятеро красноармейцев, а трое поместились в крытом дворе; кроме них, по всему Абабкову тоже жило на постое войско, и по всем другим деревням и окрестным лесам шли, останавливались на ночлег и вновь направлялись в поход великие войска.

— Сколько ж такое коров нужно вырастить, проса порушить, постного масла набить, сахару сготовить, чтоб такое войско пропитать? — спрашивал Кузя у красноармейцев. — Много, должно быть?.. Аль земля да теплые дожди управляют всякое добро уродить? Должно, что управляют, а то бы тогда и войны не было — чем кормить войско?.. Я-то ничего не видел, и мне знать не дано, но я так думаю от мысли и боюсь, что вдруг да чего не хватит на войско — чем нам тогда обороняться?..

— На армию, брат, много надобно всякого добра, — отвечали Кузе красноармейцы. — Да ведь земля у нас просторная, солнце на небе теплое, дожди падают в достатке, вот оно и рождается доброе в избытке... Чего тут пугаться, — нам всего хватит... Ты ешь побольше и надейся, что добро в бою не пропадет, оно ему нужно для пользы победы...

Кузя, послушав красноармейцев, оробел и расстроился еще более. По ошибке и глупости своей жизни, Кузя иногда близко понимал истину, и он подумал сейчас: «Это правда, что сказал человек: в бою добро земли и тепло всего неба делается силой в пользу войны со злом, а во мне добро погорает зря, потому что я слабоумный и печальный, и мне надо помереть».

— А я так вот ни к чему живу, — сказал вслух Кузя бойцам. — На работе я маломочный, хозяйства не веду, а харчи трачу...

— Это к чему ж ты так? — спросил его один боец. — Теперь надо каждому стараться народную пользу творить и против неприятеля упираться, а то нам всем лабед будет...

— А во мне разума нету: я отпущен жить на пенсию, — объяснил Кузя свое положение.

— Ну тогда чего ж ты горюешь? — удовлетворился боец. — Без разума какой ты человек, — ты сирота народа, ты не считаешься, с тебя ответа нету.

— Ума у меня тоже нету, зато я душой правило жизни чувствую.

Бойцы промолчали, стесняясь утешать одними словами горе этого обездоленного разумом человека. Высказался лишь один красноармеец, бывший годами старше всех:

— Без ума-то, оно жить, может, трудней, зато помирать легче.

— Легче, — охотно согласился Кузя, — и я скоро помру.

## 2

Почтальон в прежнее время каждый месяц приносил Кузе перевод на деньги — пенсию, но Кузя их ни разу не брал, считая, что это неправильно — получать жалованье от государства за свою горюющую, бесполезную душу. Потом почтальон стал приходить редко, раз в три месяца или в полгода, и только спрашивал:

— Одумался или еще больше подурел? Возьмешь деньги на инвалидность второй группы? Нет? Значит, принципиальность мешает, а беспринципности в тебе нету? Не надо. Государство на тебя не обидится: ему убытка нету, ему побольше бы таких пенсионеров, — и почтальон уходил.

Теперь Кузя насчитал, что у него накопилось пенсии в райсобесе города Кувшинова на десять тысяч рублей с лишним, да изба его с крытым двором чего-нибудь да стоила, и грибов сушеных было полпуда, и одежда с него останется, хоть она и ношенная. Если все его добро сложить, то получится, что один красноармеец целый год может кормиться и воевать на одних его средствах. А если красноармейцу не хватит пропитания, чтобы одолеть врага, то он ослабеет и умрет, а негодный к жизни Кузя будет цел. И тогда вся Россия станет похожа на Кузю: она

изнеможет, загорюет и пойдет побираться неизвестно куда, и будет жить только при смерти.

— Уж лучше я помру, — решил Кузя. — На одного едока будет меньше, а копейка моя от пенсии, от избы и от грибов пойдет в дело победы, и я ее не потрачу. Мертвые полезны, они никому не в убыток.

Кузя лег на печь и стал помирать. Ему это было нетрудно, потому что в нем была решимость неподвижного глупого ума и терпение святого сердца. Он лежал, не принимая пищи и питья, и медленно, тихо ослабевал.

Бойцов на постое в его избе в ту пору не случилось, а когда красноармейцы пришли на постой и увидели ослабевшего, умолкшего хозяина, то они заявили о том уполномоченному сельсовета.

### 3

Уполномоченный сельсовета Иван Петрович Шумаков был человек старый, и с самого начала войны он томился одной мыслью — тайной победы. Он хотел выдумать сам себе, как нужно победить врага. Он верил, что тайна победы есть, и она простая, только она до времени находится где-то в стороне от его головы, точно в воздухе; следует только охватить, приневолить ее своим умом, и тогда будет ясно, чем нужно насмерть и навеки одолеть врага.

Шумаков скоро явился к Кузе и спросил его, чем он тревожится.

— Я помирать собрался, — сказал Кузя. — Ты отпиши теперь избу мою и крытый двор при ней, сухие грибы во дворе, одежду на мне — на войско. И пенсию в Кувшинове-городе тоже отпиши на войско, я годов восемь ее не получал, там деньги большие...

— Доход большой, — задумался Шумаков. — Я тебе и то еще добавлю и отпишу в доход, что ты жизнь свою не дожил и пропитания напрасно на себя не извел... Слабоумные-то они лет до ста живут, а ты вот дурачок у нас сознательный: ты зря жить и жевать не хочешь... Спасибо тебе.

— Отпиши в доход и мою жизнь, что непрожитой осталась за мной, — согласился Кузя.

— Обожди, — предупредил Кузю Иван Петрович. — Обожди еще кончатся, подыши два дня. Кладбище-то у нас где? — до него шесть километров, а лошади все в поле заняты, у нас там главная забота, — на чем я тебя на кладбище повезу?

— Я обожду кончатся, — произнес Кузя.

— Обожди, обожди, — попросил Шумаков. — Мы тебе потом за все сразу благодарность вынесем в постановлении...

Хотел еще Иван Петрович спросить у Кузи: как нам дальше быть с немцем-врагом, чтобы победить его поскорее и подешевле, — но передумал: чего Кузя знает, какое у него развитие? Родился он на свет ошибочно, прожил горестно и умирает сдуру...

Через три дня Шумаков зашел в Кузину избу; там было сейчас пусто и постояльцы не ночевали.

— Кузя, ты готов? — спросил Иван Петрович с порога избы.

Но Кузя ничего не ответил ему, потому что он только что скончался и теперь остывал от тепла жизни.

Шумаков ушел из избы, а потом возвратился и привел с собою двух женщин — свою жену и соседку, чтобы они обрядили покойника на вечный путь; сам же сел составлять опись добра и имущества для передачи их целиком государству.

Прибирая покойного, соседка говорила о Кузе, что хорошо — что он помер: кому он нужен был на свете, зачем он жил и зачем томился, только себя мучил и людям надоедал...

— А кто ж его знает — зачем он жил, — тихо сказала жена Ивана Петровича. — Мы-то не знаем, кто нужен на свете, а кто нет... Может, кто не нужен-то, он нужнее и дороже всех окажется... Откуда нам знать.

Иван Петрович задумчиво и удивленно поглядел на свою жену, сшивавшую рядно на покойника.

— Моя-то баба правду говорит, — сурово сказал Шумаков. — А ты чего тут непутевое задумываешь? — обратился он к соседке. — Кому Кузя на свете мешал? Он о целом нашем государстве думал. Он, может, не дурачок, а умнейший человек был, только оказать себя перед людьми стыдился, потому что у него сердце такое болящее было. А ты чего бормочешь тут, ишь бока-то наела в военное время...

Когда покойника приготовили, Иван Петрович велел женщинам запрячь лошадь и отвезти человека на кладбище, а сам пошел ко двору.

Дома он обошел хозяйство и сосчитал свое добро. Муки и зерна у него оказалось пудов возле сорока, ячменя тоже немалая толика, картошек пудов полтыщи, а там еще были в подполье овощи, травы, грибы соленые и сушеные и прочее добро.

— Сын у тебя на войне, вести от него давно нету, — сказал себе Иван Петрович, — народ души своей на войну не жалеет, Кузя вон помер для экономии жизни, а ты харчами весь обложился и вместо умерших второй век хочешь жить... Сукин ты сын.

Шумаков развалил в ожесточении поленицу дров, чтобы порушить привычный домашний порядок, связавший его сердце.

Жена вернулась после полудня на пустой подводе. Иван Петрович велел жене не распрягать лошади и не уводить ее на конюшню, а накладывать тотчас же на подводу зерно и муку в мешках и увозить все прочь со двора.

Жена послушала мужа и сказала ему:

— Аль и ты Кузькой стал?.. Шел бы и ты на тот свет, а я бы тебя подвезла туда...

— Я бы и тебя, дурную, в кооперацию отвез, — ответил Иван Петрович, — да там не принимают таких — не товар, говорят...

Он сам погрузил свой хлеб на воз и поехал с ним в районную кооперацию, а жену оставил дома, чтоб она подумала одна и постепенно привыкла к его новому мероприятию.

В Кувшинове-городе он сдал хлеб на базу кооперации и получил в руки приказ в бухгалтерию о выплате ему суммы денег. Иван Петрович пошел в бухгалтерию и там разорвал свою денежную бумажку, а все средства велел отдать Советской России и прочему человечеству, чтобы они легче терпели свои нужды, а после победы не пошли побираться.

## ЗАБВЕНИЕ РАЗУМА

У него болело сердце по утрам, оно болело не всегда, но довольно часто. Сегодня ему тоже было нехорошо... Сердце его болело не от физической причины, не от органического порока, а от совести; причем совесть разрушала его сердце с мучительностью агонии, с действенностью механического режущего сверла.

...Усатый офицер признал в нем великого практика и мастера какого-то центробежного удара по противнику.

Он был капитан Федот Федотович Семыкин, командир не крупной части и не последний офицер в своей дивизии, во всяком случае, это он вчера в полдень штурмовал населенный пункт Благодатное и смешал кровь противника с тающим снегом, оставив этот пункт за собой.

Семыкин не был кадровым офицером; до войны он работал районным гидротехником в Саратовской области и любил свой тихий труд, орошающий влагой засушливые поля Поволжья.

Семыкин полежал еще немного на топчане в немецком блиндаже, и ему стало хуже. Кроме болящего совестью сердца, он чувствовал теперь вдобавок и вопиющий острый стыд, как бывает после убийства невинной девушки, которую он не знал ни в лицо, ни по имени, но невзначай умертвил.

— Марш в роту! — приказал капитан Семыкин, не зная, что было вчерашний вечер, но желая уничтожить бывшее.



И внезапно Семыкину стало жалко себя. Он ведь был способный, решительный офицер, и сам это знал. Генерал-майор, командир дивизии, недавно даже поцеловал его за дело под Семеновкой. Под Семеновкой капитан Семыкин захватил четыре только что подбитых немецких танка; он укрыл в них свою штурмовую группу и повел из машин огонь по охвостьям немецкой пехоты, стремившейся за танками; этим приемом Семыкин уложил замертво полтора десятка душ врагов, а сам потерял лишь семерых бойцов, когда приходилось бороться с еще живыми солдатами из экипажей танков; затем Семыкин приказал оставить танки и пошел вперед в бой на поражение последних остатков отходящей неприятельской пехоты. Тогда было хорошо, и Семыкин помнит свою живую радость в том бою; он мчался тогда по полю в наступающей цепи, и смерть напевала пулями навстречу ему, но сердце его было исполнено одушевленного восторга и уверенностью в неприкосновенности своей жизни и жизни своих товарищей, потому что все они чувствовали тогда торжествующий дух истины, действующей в них, что было, может быть, важнее жизни и поэтому заставляло их не опасаться за нее и что в то же время таинственно, с верностью инстинкта оберегало их от гибели... Не там ли, перед тем боем у Семеновки и в самом бою, он чувствовал себя наиболее целостным и трезвым существом и, ничего не утрачивая в себе, не там ли он узнал, как все обычное в нем вдруг стало возвышенным и совершенным, словно из его души, как из серой земли, выросли светлые растения, непохожие на мать и незримые в ней. И бой этот окончился поражением врага насмерть, и в тишине наступившей победы Семыкин заметил теплый пар над морозной землей, исходивший от медленно остывающих трупов немцев: они хотели лишить наш народ его живого дыхания и его великой судьбы, и сами теперь холодеют навечно. Семыкин кротко улыбнулся тогда; он понял, что лишь подвиг, лишь соревнование со смертью рождает в человеке блаженство совершенного существования. Но тут же он приказал ординарцу наполнить его фляжку водкой, выпил ее и погрузился в теплое животное забвение, в котором угасла его ясная радость победившего солдата.

«Какая скотина живет во мне, — думал теперь Семыкин, — добро бы от горя я прятался в фляге, а то и от счастья лезу в нее же!»

— А как насчет свояченицы?

— Это кто?

— Сестра моей жены, а теперь она временно вдова с двумя детьми. Я тебе фотографию ее показывал — всей женщине двадцать седьмой год, — ты еще поцеловал ее снимок и доверенность на получение по аттестату сразу хотел ей писать. Но я тебе сказал — обожди до утра, печати нету. А после войны, говорил, в гости к ней поеду, люблю смирных и пожилых!..

— Да ну? — спросил Семыкин, с интересом слушая повесть о самом себе...

— Вы, Семыкин, — сказал генерал капитану, — можете первым ворваться во главе своего штурмового подразделения в Берлин. Через час или два я помогу вам стать сразу полковником. Но еще через несколько часов вы станете уже сержантом — в этом вы сами поможете себе, и, поверьте, я вздохну тогда от огорчения...

— Нет, обожди! — приказал генерал.

Семыкин вытянулся, стыдясь, что во время войны, на жизнь и на смерть решающей судьбу всех людей, на сотни лет вперед творящую историю земли, он занимается вместе с генералом обсуждением поведения своей особы, в то время как на войне любая секунда, прожитая солдатом впустую, увеличивает бедствия его народа. И в тот же момент он чувствовал, что хорошо было бы ему теперь опохмелиться: он сразу стал бы вполне здоровым человеком. «Экий я негодный какой все-таки, одна штрафная меня исправит!» — с печалью подумал тогда Семыкин.

— Скажите, капитан, в чем смысл вашей склонности к вину? — спросил генерал. — Что вы чувствуете, — ну, гм, античный оргазм, что ли, или этакое экстатическое состояние, — объясните...

Семыкин искренне ответил:

— Я себя тогда не чувствую, товарищ генерал...

— И что же, вы счастливы бываете?

— Ни разу еще, товарищ генерал, не успел запомнить своего счастья — во время пьянства времени нет, а позже трезвым бываешь...

— Ребячеством занимаетесь, капитан. Если вы любите не чувствовать самого себя и вам нравится, так сказать, отдохнуть от своей личности, то любой гитлеровец скорее вина может доставить вам это удовольствие. Какой же вы солдат? — вы смертник!.. А в операции под Благодатным вы действовали быстро, самоотверженно и ваши подразделения были послушны вам в огне. Но у вас было там и некоторое безрассудство — помните, вы два взвода бросили на центр противника, напролом, по открытому месту, а уютную лощинку вы вовсе не использовали, хотя она планировалась в операции, она была выгодна для вас и тоже вывела бы ваших бойцов на заданное направление. Не знаю, почему вы так поступили. Я вам этого не ставлю на вид, потому что вы решили задачу, но я не уверен, что все человеческие потери в ваших взводах были неизбежны. Вы понимаете? Я могу думать, что ваше вино разбавлено кровью нашего солдата. Не дайте возможности мне убедиться в этом, прошу вас. Ступайте.

Капитан Семькин еле сумел повернуться по форме и уйти, потому что последние слова генерала разрушили его сердце и он мог нечаянно вскрикнуть от них, как от ранения пулей.

...Сразу сухо стало внутри его тела, ничего ему более не хотелось, и мир вокруг него, обыкновенный, родственный и постоянно близкий, теперь словно удалился от него и умолк, и Семькин почувствовал себя сиротой среди знакомой земли.

Он увидел почти без усилия воображения, но с точностью воспоминания, как лежат в холодном зимнем саду на окраине Благодатного его два бойца, два мертвых человека, которые могли быть сегодня живыми, — Дмитрий Косых и Георгий Фомин, — он видел их вчера, а сейчас их предали земле и они окоченели в ней. Но они могли бы дожить до победы и еще долго жить после нее... Они ли были, Косых и Фомин, павшими напрасно, без судьбы и неизбежности, или то были другие — одинаково: никто их более не возместит ни его сердцу, ни их родине. Солдатские матери рожали и любили своих детей не ради того, чтобы Семькин, ошибившись правильно сообразить своей нетрезвой головой, помог им умереть...

...Семькин, возвратившись, не мог, не щадя себя, стерпеть своей печали. Убоявшись горя, он снова выпил как следует и ушел чувством и памятью в забвение...

...Семькин вышел наружу. Ночное небо в немых ракетах, как сад, цветущий огнем, сияло и гудело катящимся вдалеке валом боя. Капитану стало лучше при виде такого мира; он подумал, что еще возможно для него искупление; но тело его дрожало от сладости и мысль не могла сосредоточиться с покорной силой, чтобы действовать скоро и точно подобно отработанной привычке.

Командир дивизии говорил однажды своим офицерам, и Семькин тоже слушал его, что тело воина есть его важнейшее живое оружие, — берегите же, говорил генерал, свое тело и высшие его органы и способности и развивайте их сколь можете, тогда и любое мертвое оружие станет живым и всемогущим в ваших руках.

Сейчас Семькин ощущал, что в теле его, на месте одного человека, живут как бы двое и теснят друг друга: один говорит — думай, а другой говорит: «Обожди, иди ты к чертям»; один хочет поднять руку, а другой задерживает ее, чтобы она отдохнула. «Да, — понял тогда Семькин, — во мне что-то есть, будто русский с немцем в рукопашную дерутся».

«Вчера поздно вечером, — подумал Семькин, — все я совершил вчера вечером, я и на Феничке собирался жениться вчера вечером, и свояченица усатого мне нравилась по одной фотографии вчера вечером; но что я усилил саперов — это хорошо».

На свое новое местоположение батальон Семькина прибыл с опозданием на десять минут, и наши танки, чтобы не поразить своих, вышли на встречный бой с такой же задержкой во времени; по этой причине порядок сражения нарушился и оно стало трудным для нас.

...Наутро капитана вызвал к телефону командир дивизии:

— Здравствуйте, ефрейтор Семькин, — поздоровался генерал. — Что ж делать, Семькин: капитан Семькин немца одолевал, а себя одолеть не мог. Может быть, ефрейтор Семькин одолеет и того, и другого? Как вы думаете?

— Служу Советскому Союзу, товарищ генерал! Я думаю, что рядовой Семькин еще лучше одолеет и того, и другого! — ответил ефрейтор.

— Ишь ты!.. Я с вами совершенно согласен, боец Семькин, но я вас не забуду... Что-то есть в этих пьянчужках! — задумчиво произнес генерал.

## НЕМЫЕ ТАЙНЫ МОРСКИХ ГЛУБИН

(роман из великой эпохи)

Я опущусь на дно морское  
Я поднимусь под облака  
Лицо я вижу восковое  
И худощавые бока  
Песнь пожилых девушек,  
именуемых «синими чулками»  
г. Индиан Чепцов,  
мореходец и любитель сочинений

Жил он у Покрова, откуда простирался вид на обширную Донскую область с её известным торговым пунктом Ростовом н/Дону.

Из русских и заграничных писателей любил он больше всего А. Леваду и Старого Френча, писавших сочинения своего произведения в газете «Репейник», ибо они были похожи на Чехова, единственного умного человека из русских сочинителей, как полагал Чепцов.

Но, к сожалению, А. Левада и Старый Френч были иностранцы, судя по фамилиям, и, в лучшем случае, принадлежали к той хитрой нации, которая прозывается хохлами. Но за несомненного русского писателя Чепцов почитал Мих. Бахметьева, сочинявшего только про разных особ противоположного самому себе пола, и про себя Чепцов думал, что у него есть ещё главные секретные сочинения, написанные по одному матерному. Но и его считал Чепцов татаринном либо мордвой.

Так что не было в Воронеже знаменитого русского писателя, а если были, то иноземцы.

В существе вещей Чепцов предлагал лежащим пространство, то есть даль, море, путешествие, пешеходство с седым и мудрым странником. И мир, по его суждению и долгой думе, переживает только утро и набухает горячей юностью и от жадности и голода в материнской утробе пожирает зверей, траву и всякие злаки, чтобы впоследствии пуститься в странствие по поверхности земного шара, по его недрам и по дну его морей и океанов, а также по прочим шарам за атмосферными пределами.

Вследствие этого Индиан Чепцов купил моторную лодку с новым мотором в Спасском пер., в доме номер 2, по объявлению в «Воронежской коммуне». И поехал в дружелюбную страну Турцию, взяв себе другом Жоржа, знаменитого фокусника и престижитатора, занимавшегося в последнее время безвозмездным товарообменом с разными лицами и учреждениями, которые операции делали судьбу его превратной и полной неожиданного смысла, вследствие чего Жорж только пуще влюбился и пил более густой наваристый чай, в количестве стаканов сопредельном расстоянию до неподвижной звезды.

Паричок Жоржик снял, ибо предстояла пустыня, сырость и глухая одинокая даль, а не концерт в консерватории.

И вот настал голубой теплый день.

Индиан Чепцов и Жорж спустились к шлюзу, завели мощный мотор, поглядели на Воронеж, свой родной губернский город, от коего таким же образом Петр Первый отплывал, и поплыли к Дону. Мотор ревел, как одичалый черт.

— Ага, попер, чертила! — вдохновенно бормотал Чепцов. И вихрем неслась лодка, гонимая диким огнем, задушенным в железе. Так в древности гениальный дикарь вскакивал на трепещущего вольного коня, и, пугаясь друг друга, они проносились сотни верст.

### Трагическое сочинение Иоганна Пупкова

Благого сердца благодать и песнопение,  
Пузырь Луны и мокрая ветوشка,  
И тихих рек ночное средостение,  
И одичалая осенняя картошка...  
Земные тела распухли и вспотели.  
Набухло чрево пищей и питьем,  
В космической берлоге люди засопели.  
Душа в тугачку закупорена пупком.  
(Месмерические видения Индиана Чепцова)

#### 2. Благолепие земных вещей

И прибыли они, плавающие и путешествующие, Чепцов и Жоржик, в некую весьма благолепную страну, коей неведомо было воздыхание о сокровенных вещах.

На берегу стоял человек, его обличье и рост вещали о питании одной мыслью и спрятанные в черепе глаза как бы говорили: буржуй, сволочь, укороти свои безмерные потребности, жри пищу не для вкуса, но для здоровья, закупорь свои семенные каналы, не спускай силу зря, гони ее в мозг и в руки.

Лодка проплыла мимо, но все стоял сухостоем длинный и суровый человек, как бы предупреждая и грозя и как бы напутствуя: не ходи в сей город, смежи очи от его благолепия; там во дворах устроены стойла, где сытые самки раскорячились в ожидании твоего оплодотворения, дабы затмить твое святое сознание и опустошить твою борющуюся душу.

Чепцов и Жоржик уже норовили к берегу, когда все еще торчавший на горизонте длинный человек сделал им, наконец, наглядное неприличие, т. е. пакость.

— Поразительное существо, — определил Чепцов. — Так сказать, трансцендентальный мещанин.

— Да, — задумался Жорж, — хотя целый ряд соображений говорят не за, но против этого бытийствующего субъекта.

Город блестел чистотой и своей изрядной архитектурой, когда мирно ступали по его тротуарам наши два героя. Везде стояли ветлы, снабженные нормальным количеством воробьев, милиционный человек стоял также ровно посередине улицы, а не грелся в гастрономическом магазине (дабы не мешать коммерческому движению).

Весь супесок с тротуаров был сметен в предназначенные для него канавки, откуда он и выносился естественными осадками в свое место. Юношей, предлагающих вам высшего сорта папиросы, также не было, и Чепцов даже слегка потосковал об их бодром гимне, какой непрерывно раздается на улицах его родного города:

— А вот папиросы высший сорт —

Здесь:

Вот они!

Лишь вдалеке незначительная группа молодых людей отбивала ногами «чечер», национальный танец этой благой страны.

Второй встретившийся нашим героям человек был уже радостным существом:

— Друг, дай петушка! Я вас люблю — дай петушка!

Жоржик и Чепцов дали ему по петушку.

Из открытых дверей благоустроенных жилищ, туземцев пахло щами и жженым железом печей местной конструкции.

Наконец Жорж и Чепцов узрели самую культуру страны: афишу, на коей было обозначено, что гр. Мамученко прочтет доклад о браке, совокуплении и любви.

Город, насколько разглядели его наши герои за день, ничем не занимался трудным, а всем населением с утра уходил на базар и продавал друг другу ветошь, замшу, мыло, пышки, лепешки, всякие жамки, купыри, сальники, воду марки санитас, пузырьки для электрического освещения, опорки, заусайловскую махорку, грамотки старинной печати, иконки и прочий благоприобретенный товарец. Так что общество, в сущности, было освобождено от труда, а занималось творческой профессией товарооборота ради питания и домашней тишины.

У каждого человека была женушка, добротная хозяйка-посиделушка, и весь мертвый кухонный инвентарь. Вечером поужинав теплыми щами с говядиной, хозяин и хозяйка прочитывали совместно и не спеша «Господи и владыка живота моего» (был пост великий), и ложились на покой в тесное супружеское тѣплышко. Утром хозяйка варила (а хозяин еще всхрапывал) кулеш с салцем. А хозяин, вставши и нанизавшись этой пищей, шел самолично шупать троечку курей.

Так несуетно и благопристойно протекало существование. Колосья смазывались маслицем, лысины зачесывались волосок к волоску, а по вечерам тщетно плакали гармонии на окраинах, на улицах сапожников — о тоске, о светопреставлении, о мысли буйной и невыносимой, будто лопнуло сердце и рваным комком подкатило к горлу. Боже мой, люди, давайте жить по-иному и ополчимся на мир и на самих себя. Поллюбим женщин жарко и на вечность, но не будем спать с ними, а будем биться вместе с ними с ревушей катастрофой, именуемой миром.

Жоржик и ты, Чепцов Индиан, вы же странники и воители, вы шахтеры вселенной, а не то, что вы есть. Жорж, брось пожирать колбасу и масло, перейди на кашу, ты же лучший из многих, дорогой ты мой.

Вечером того же дня Жорж и Чепцов отправились на лекции Мамученко. Народу привалило тыщи великие.

За самое чувствительное место ухватил Мамученко людей — за их яичники.

Одни сапожники остались дома играть на гармониях. Они живут на белом свете.

### **Трагическое, то есть жалостное сочинение Иоганна Пупкова**

Гуляла по улице мамашина дочка,  
Слезам заливалась до тощего пупочка.  
Девица-голубушка, горькая краса,  
Горе есть — сгоревшие жир и колбаса.

### *3. Книга о граде сем*

Однажды ночью Чепцов спал. И так сладко, что открыл рот и опустил оттуда слюну до полу. А на дворе стояло утро, поднялась теплота, и в комнату пробрались мухи. Увидевши красное мясо (т. е. пасть Чепцова), они внизались в него и стали там ерзать. Чепцов закрыл рот: ап! и сжевал их и отправил по пищеводу вниз. Проснувшись и поевши колбаски, он пошел будить Жоржика.

Жорж выпил чан чаю, намял тюри в чугуне и, скушавши ее, запив повторительно корчажкой воды, наконец приподнялся, потом встал, и они пошли: как всегда оба и вдвоем.

Город тянулся к базару. Обвешанные ветошью, шли бабы. Катились тележки с малосольными огурцами, с калекой (братие, сестры, подайте слепому-невидящему!) и с прочим горем несчастного города.

В некотором углу большой и изрядно унавоженной площади расположился старый торговец книгами, философ, любитель чая и задушевной беседы о вещах не одного дня. Был он тощ, но бодр и мудр. Спал мало, долго по ночам думал и читал древние стертые рукописные книги: мо... мо... мо... И, начихавшись, вздыхал: да-а! Затем укладывался, шепча и думая, чтобы проснуться на заре и осторожно, неспешно и мудро снова перелистывать заржавевшие страницы, куда внедрились культуры и боги погибших рас, чтобы сохраниться на века в темной келье старика, покуда родятся понимающие светлые люди и прочтут уставшие ждать слепые страницы.

К нему-то и пробирались два наших героя. Старик (его звали Иоаким Иоакимыч — он и сейчас цел и действует) их как бы поджидал и, привязывая новые веревочки к очкам, все поглядывал в сторону бредущих сквозь непроходимый сонм торгующих. Солнце уже было на значительной высоте и грело разложенную мануфактуру.

— Здравствуй, старик! — сказал Чепцов и взял в руки книжку.

— Здравствуйте, друзья, что скажете? Что хорошенького слышно?

— Да вот нам нужна книжка нравоучительного характера и отчасти моральная...

— Есть, есть. Таковая найдется. Вот извольте вникнуть.

«С этим стариком хорошо пивка бы попить с сухариками солеными», — подумал ни к чему Чепцов и взял огромный том. Откинув переплет, Чепцов и Жоржик прочитали: «Книга о граде сем, сочиненная и составленная добровольно столоначальником 4 стола губернской консистории Ионой Атараксиевым, с ведома и соизволения начальства, на предмет выяснения личностей, населяющих сей государственный пункт, дабы отметить благонравие одних и устеречь дерзостное поведение иных».

— Для любителя — книга — неукоснительного внимания, так сказать, ключ к душам человеческим, — сказал старик. — Писание весьма нравоучительное даже в недостойностях своих, коих, к стыду сочинителя, немало.

Чепцов и Жорж заплатили деньги и пошли читать книгу домой, т. е. к одной старушонке, где они поселились.

— Ну, прощай, старик. До свиданья.

— До скорого, дорогие мои, до скорого.

Жорж зашел еще купить лепешек и масла чухонского, а Чепцов пошел прямо к местожительству и начал читать сочинение Атараксиева Ионы.

«Обращение от сочинителя и составителя к почтенным читателям и читательницам» Чепцов пропустил как не содержащее ничего особо примечательного (сочинитель просил не сетовать на его маломощный умишко, стремящийся лишь к благонравию и добропорядочности, отнюдь же не к славе и не к возвышению в чинах за особо выдающиеся заслуги пред отечеством, предусмотренные особым на сей предмет положением). Чепцов начал прямо с сути.

## Глава первая Раздел первый

Личности в особо предосудительном не замечаемые, что, однако, не служит добрым аттестующим документом на грядущее время, по существу же вещей это такие же подлецы и государственные преступники, но лишь их множество допускает их относить властям исполнительным к лицам так называемым благонадежным.

1. Педо Африкан Африканович, писец 4-го разряда 2-го стола 1-го делопроизводства, 38 лет, холост, уроженец заграничной державы. В то время, как начальство пьет чай в 12 часов по полудни и кушает особые слоеные булочки, этот занимает до двадцатого у сторожа Петра пятачок и посылает уборщицу Феклушу за так называемым в просторечии «воробьем», т. е. наименьшей продажной мерой казенного вина. После чего он по глотку ублажает себя в продолжении нескольких часов до конца присутствия, втайне следя за взором столоначальника, дабы не быть застигнутым. После двадцатого числа любого месяца он не только пьет вино, но также и пиво в несоразмерных с самим собою и с своей комплекцией количествах, вследствие чего у него в продолжении трех суток после двадцатого бывает мочегон, по причине которого он непрерывно отсутствует из присутствия. Личность одинокая и дикая. Все более разучивается писать с годами.

Скобоз Ванифатий Юстинианович. Пом. делопроизводителя 11-го делопроизводства, 42 лет, женат, православный, не пьет, ест однажды в сутки, спит четыре часа по ночам, все другое время, как в присутствии, так и дома, пишет ведомости о родившихся младенцах мужского и женского пола. Дома у него их тыщи. Неведомо что творит человек. Но по моему уразумению тут сокрыто государственное преступление или деяние чрезвычайной важности таинственной разрушительной секты. В прочих отношениях Ванифатия Юстиниановича не покидает благомыслие.

## **РОДОНАЧАЛЬНИКИ НАЦИИ, или БЕСПОКОЙНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ**

### I

Город, что он такое!

Шли-шли люди, великие тыщи шли по немаловажному делу, а потом утомились, стали на горе — реки текут тихие, вечереет в степи; опустились на землю люди, положили сумки и заснули, как птицы — всею стаей.

Поднялись и забыли куда шли: сном изошла тревога, которая вела их по дорогам земли.

Встали, как родились — ничего никому неведомо. И силу телес люди направили в тщету своего ублаготворения. Животами оправились и размножились, как моль.

Иван Копчиков — мужик сдобный и мордой миловидный — переменялся. Высокий вышел, худощавый парень, с терпеливыми стоячими глазами. Пушиться стало лицо и полосоваться бичами дум.

Шел Иван по улице и думал о городах — больших и малых.

Играла музыка в высоком доме. Становился Иван, и сердце в нем остановилось.

— Кто это так плачет и тоскует там так хорошо? У кого голос такой? Если звезды заговорят, то у них только будут такие слова.

Песнь — это теснота душ.

А такой песни Иван еще не слышал. И ему захотелось сделать такое, чего никогда не было. Самому пропеть такую песнь, чтобы люди побросали все дела свои, всех жен своих и все имущество и сбежались слушать, и так заслушались бы, что есть, лишь, размножаться и сердать позабыли бы.

Постоял-постоял Иван и пошел дальше. Потемнело уже. Огни по улицам зажглись, и свет их не давал копоти.

Люди толклись кругом, гнала их вперед и назад некая могучая сила.

Повозки неслись по мостовой, а один толстый большой человек сидел на корточках у дома, где должен быть завалинок, и ел землянику-ягоду, и крякал и чмокал от ублаготворения.

Иван постучал в дверь соседнего не очень большого, но благовидного дома. Отворила женщина, молодая и благоухающая травами.

— Вы что, дорогой мой?

— Переночевать можно?

— Переночевать?.. Вам негде ночевать? Я не знаю... Вот папа скоро придет... Вы подождите. Входите сюда.

Иван вошел. Сел на мягкую скамейку. Кругом — мебель и неизвестные вещи, которые не нужны человеку.

Женщина оказалась девушкой и села читать книжку. Иван спросил ее:

— Ты што читаешь?

— Стихотворение Лермонтова. Вы их читали?

— Нет, — ответил Иван. — Дай-ка я погляжу. Иван полистал и прочел:

В небе ходят без следа  
Облаков неуловимых волокнистые стада.

Иван встал на ноги и начал читать. Потом сел, поглядел на девушку заплаканными глазами и отдал книжку.

\* \* \*

Пришел отец этой девушки. Похож на мужика и в сапогах.

— Эт што за жлоборатория?! Тебе чего?..

— Нам на ночевку, — сказал Иван.

— На ночевку вам? Што тут, ночлежный дом, што ль? — Откуда сам?

— Суржинские мы...

Подошла к отцу сама барышня.

— Пускай, пап, остается. Он хороший.

— А если што пропадет, ты отвечать будешь? Дыня-голова, обалдела што ль! Вшей тут плодить!

Наконец-таки отец умилоствился:

— Ну, пуцай в передней ляжет и глаза мне не мозолит.

Ночь нашла тучей — тихой и прочной тьмой. Иван лежал на попонке и дремал. И тихо из комнаты забубнил голос хозяина, как будто закапала вода.

Иван прислушался. Отец девушки читал. Тикали часы, и капали слова:

«Всякая цивилизация есть последствие целомудрия, хотя бы и неполного. Целомудрие же есть сохранение человеком той внутренней могучей телесной силы, которая идет на производство потомства, обращение этой силы на труд, на изобретение, на создание в человеке способности улучшать то, что есть, или строить то чего не было.

Цивилизация есть нищета по отношению к женщине, но тяжкий груз мысли и звездоносная жажда работать и изобретать то, чего не было и не может в природе быть.

Свирепость природы, ее крушение, засухи, потопа, нашествие микробов, невидимые явления в электросфере — приучили человека к работе, бою, передвижениям по поверхности земли и войнам между собою.

Когда кончились войны и ослабела борьба с землей за пищу, то человек возвращался в дом к женщине, но уже он был не тем, каким ушел. Он делается более целомудренным, и хоть и живет с женой, но меньше спит с ней, и глубже пашет. Прочнее и выше строит дома, чаще задумывается, острее видит, искуснее изобретает и приспособляет свои орудия и свой скот к работе.



Но все цивилизации земного шара сделаны людьми только немножко целомудренными.

Теперь наступило время совершенно целомудренного человека, и он создаст великую цивилизацию, он обретает землю и все остальные звезды, он соединит с собою и сделает человеком все видимое и невидимое, он, наконец, время, вечность превратит в силу и переживет и землю и само время.

Для этого, — для прививки человеку целомудрия и развития, отмычки в нем таланта изобретения — я основал науку антропотехнику\*.

Основатели новой цивилизации, работники коммунизма, борцы с капитализмом и со стихиями вселенной, объединяйтесь вместе, и перед борьбой, перед зноем великой страды — испейте из живого родника вечной силы и юности — целомудрия.

Иначе вы не победите!

Силою целомудрия перестройте и усильте сначала себя, чтобы перестроить затем мир»...

\* \* \*

«Прощай, невеста и милый друг!

Пусть сократятся твои дороги по земле и душа наполнится легчайшим газом радости.

Не вовремя ты родилась. Для тебя время рождения никогда не придет.

Ты из членов того человечества, которое не рождается, а остается за краями материнской утробы.

Ты — тощее семя, которое не оплодотворяется и не разбухает человеком.

Нечаянно твое гиблое начальное семячко слепилось с другим таким же обреченным семячком — и вылепился человек, который не бывает, а если бывает, то слепит глаза людям чудом — и погибает без вести, как велюр, уткнувшись в гору. В черноте и великой немости стоят звезды на небе, как большие неморгающие очи, плачут светом и путь свой оставляют серебряным руном».

Иван слушал, не понимая. Сердце его шевелилось, и сам он шел странником по городам, по странам, по заросшим садами звездам, по томительном смертным пустыням.

Над городом, над полями, над деревнями, над всею преющей землей шла немая бездыханная ночь, как было спокон веков.

---

Далеко по земле ехал мужик Кондратий из Мармыжей в Суржу.

— Н-но, ошметок, тyani, не удручай — потягивай, не скучай!

Ехал Кондратий пустыми ветряными полями и разговаривал:

— Мне нужен хлеб... А кто его даст? Намолотил, вон, три копны. Душа также надобна. Как ее изобразишь, когда неведомо творение?... А люди живут, что? Пузо стерегут, да баб мнут... Нет тебе никакого направления, либо што чего... Нет тебе нигде ни дьявола!..

## II

Тянулась тщедушная жизнь, как деревенские щи. Живешь-живешь, а жизнью все не налопаешься. Плохо жить без любви, как без мяса обедать.

Появилось в теле у Ивана Копчикова как бы жжение и чесотка, — сна нету, есть не охота. Жара в животе до горла. Хочется как бы пасть волку разорвать, либо яму руками выкопать в глубину до земного жара.

---

\* Значит, искусство строить человека: антропос — по-гречески — человек. — (Прим, автора).

Иван уже знал, что в могиле тепло, а в глубоких землянках рыбаки живут и зимой у самого льда.

Бесится в тесном теле комками горячая крутая кровь, а работы подходящей нету. Думы все Иван передумал, дела произвел, хату отцу починил, плетни opravил, баклажаны сполол — все, как следует быть.

Сидит Иван вечерами и ночами на завалинке. Сверчки поют, в пруде басом кто-то не спеша попевает и попевает, как запертый бык.

Радость внутри сердца Ивана кто-то держит на тонкой веревочке и не пускает наружу.

А Иван совсем ошалел, Мартын же иногда давал ему направление.

— Тебе-б к бабе пора, — говорил Мартын Ипполитыч — сапожник сосед, мудрое в селе лицо, — а то мощой так и будешь.

И шел раз Иван по просеке в лесу.

Ночная муть налезла на всю землю. В воздухе было невидимо и запахло хлебной коркой.

И идут сзади вслед торопкие и легчайшие чьи-то ноги.

Иван обождал.

Подошла, не взглянула и прошла Наташа, суржинская незавидная девка.

И видел и не видел ее ранее Иван — не помнил. В голове, в волосах и в июле ее была какая-то милость и жалость. Голос ее должен быть ласковый и медленный. Скажет — и между словами пройдет дума, и эту думу слышишь, как слово.

И в Ивановом сердце сорвалась с веревочки радость и выплыла наружу слезами.

Наташа ушла, и Иван пошел.

На деревне — тишина. Из сердца Ивана повыползли тихие комарики — и точат, и жгут тело, и сна не дают.

\* \* \*

Шли дни, как пряжу баба наматывала. Живешь, как на печке сидишь, и поглядываешь на бабу — длинен день, когда душа велика. Бесконечна жизнь, когда скорбь, как сор по просу, по душе разрастается.

Простоволосые ходили мужики. Чадом пошла по деревне некая болезнь. Тоскуют и скорбят, как парни в мобилизацию, все мужики.

Баб кличут уважительными именами:

— Феклуша, — дескать, — Варьюшка, Афросиньюшка, Аксинь Захаровна.

Благолепное наступило время.

Тихо ласкали по деревне люди друг друга, но от этих ласк не было ни детей, ни истомы, а только радость — и жарко работалось.

Посиживал Иван с Наташей и говорил ей, что от них по деревне мор любовный пошел: завелась у Ивана в июле от Наташи как бы блоха какая, выпрыгнула прочь и заразила всех мужиков и баб.



Здесь вошь любви, но она невидима. Пускай прыгает она по всему белому свету, и будет светопреставление.

---

Приезжал доктор из волости, освидетельствовал самых благородных мужиков и определил:

— История странная, но вселенная велика и чудесна — и все возможно. Мы, как Ньютон\* еще сказал, живем на берегу великого океана пространств и времен и ищем разноцветные камушки... И эта бацилла-аморе\*\* только самая ядовитая хворь.

### III

Пустынничеством стала земля. Свирепело и дулось жаром солнце, будто забеременело новым огнем невероятной силы.

А по полям только шершавый терпеливый жухляк трепыхался, да змеи в горячем песке клали длинные пропадающие следы. Змея она не похожа ни на одного зверя, она сама по себе, немая и жуткая тварь. Змея не любит ничего, кроме солнца, песка и безлюдья.

Как в печке, сгорели посевы и с ними — жизнь. Тела мужиков обтощали, — даже худощавым плоскушкам еды не хватало.

Ни тучки, ни облака, ни ветра. Один белый огонь цельный день, а по ночам медленнотекущие оглядывающиеся звезды.

Были необходимы ветры, но воздух поредел от тишины.

И вот уже в августе трое суток то наступала, то отступала и дробилась зноем тяжкая туча. Разнесло ее во все небо.

— Не к добру, — говорили старики, — из такой не вода, а камни полетят.

Вышел в поле Иван и ждал. Но в поле ничего не оказалось. Птица, зверь и всякое насекомое исчезло и утаилось.

Насела туча, темнее подземных недр. Но ни капли, ни звука из нее.

\* \* \*

Ждал до вечера Иван — не шелохнется туча. Всю ночь не спал, все слушал, как камни вниз полетят. Ничего не было, и утром так же стояла туча.

И только в полдень ослепила небо и землю сплошная белая молния, зажгла Суржу и травы и леса окрест. Вдарил такой гром, что люди попадали и завывали, и звери прибежали из леса к избам мужиков, а змеи торцом пошли в глубь нор и выпустили сразу весь яд свой.

И полетели вслед за молнией на землю глыбы льда и крушили все живое и раздробили в куски мертвое.

Упал Иван шибче льдины в лог и ткнулся в пещеру, где рыли песок в более благопристойное время.

За ледобоем вдарил сверху тугой водяной столб, заготовляя влагу впрок.

И синее пламя молний остановилось в небе, только содрогалось, как куски рассеченной хворостиной змеи.

Пошла вода из туч — аж дышать нечем. Воет и гнетет свистящий и секущий ливень.

И за каждым громовым ударом — новым свирепеющим вихрем несется вода, и как стальным сверлам разворачивает леса и землю и почву пускает в овраги бурными потоками...

К вечеру стих мало-помалу водяной ураган.

Стало холодно. Внизу по оврагу еще неслась вода. А по откосу, где был в пещере Иван, только топь и вывороченная, разрушенная земля.

---

\* Ньютон-англичанин — удивился падающему яблоку.

\*\* Доктор говорил по-ученому, по-русски это значит — гнида любви.

Выбрался Иван наружу и глянул. Не было ни Суржи, ни леса, ни полей. Чернели глыбы разодранной земли, и шипела вода по низинам.

\* \* \*

Задумался Иван:

— Град и ливень рухнули вниз, когда засияли молнии. До того туча шла мертвой.

И пошел Иван прямо к Власу Константинычу — волостному доктору, тому самому, который заразу любви обследовал.

Влас Константиныч любил книги. Жил без жены и существовал лишь для питания природы.

Влас Константиныч любил всех суржинских.

Пришел к нему Иван и говорит:

— Дождь от молнии пошел, а не от тучи.

— Как тебе сказать, — ответил доктор, — от электричества.

— А электричество самому сделать можно?

— Можно...

И доктор показал Ивану баночку на окне, из которой шла вонь.

— Дайте ее мне совсем, — попросил Иван.

— Что ж. Возьми. Это штука дешевая. А зачем она тебе?

— А так, поглядеть. Я принесу ее скоро.

— Ну-ну. Бери, бери.

Иван ушел к рыбакам на Дон, ибо Суржу со всеми домами пожгла молния и задолбил ледобой.

Иван понял одно, что электричество собирает в воздухе влагу всякую и сгущивает ее в тучи.

— А когда бывает засуха, значит можно, все ж таки наскрести влагу электричеством и обмочишь ею корни?

Когда просохла земля, Иван стал добиваться, как сделать влагу электричеством.

Жил он в землянке у Еремы старика, посвятившего от одиночества и от природы, и ел подлещиков, голавлей, сомов и картошку.

---

Зной водворился опять. Все повысохло. Запылала и заныла земля.

На всякие штуки пробовал банку Иван — ничего не выходит.

И только когда догадался он проволочку от винтика на баночке прикрепить к корням травы, — тогда дело вышло. Тогда трава зазеленела и ожила, а кругом стлалась одна мертвая гарь.

Иван поковырял землю, добрался до корешков, и пощупал — сыровато.

— Надо жить теперь не спроста, — решил Иван, сердечно радуясь от любопытства к природе.

#### IV

Вдрызг в чернозем сбита и перемешана старая Суржа и пожжена. Только кирпичи от печек остались, да одна курица в норь какую-то каменную забила и теперь отживела и ходит беспутная. Никакой живой души: льдины с неба покололи все мужиковские головы.

Но через десять дён обнаружился еще Кондратий — мужичок неработающий и бродяга, — бывал он раньше на шахтах, а теперь жил при брате скотом.

— Я, — говорит, — буду управителем русской нации. И пахать тебе не буду.

И вот теперь Кондратий обнаружился: в печке просидел и вылез невредимым. Поглядел-поглядел он на курицу:

— Что ты голову мне морочишь, скорбь на земле разводишь? Кабы б две хоть, а то одна! Ай ты нужней всех?  
Поймал, защебил за шею и оторвал ей курью башку.  
— Тварь натуральная, тебе и буря не брала!.. — И переменялся душой Кондратий: — Брешешь! Человека не закопаешь: тыщи лет великие жили!  
И стал жилище себе обделывать из разных кусков и оборок расшибленной Суржи. Получилась некая хата.  
Пришла одна суржинская девка из города. Вдарилась оземь:  
— Родные мои, матушки!.. Не схотели жить, мои милые!.. — И пошла — и пошла.  
Подошел к ней Кондратий:  
— Не вой, девка! Видишь — народонаселения никакого нету... Стало быть, я тебе буду супругом.  
И обнял ее в зачет будущего — для начала.  
Через некоторую продолжительность явился в Суржу с Дона и Иван Копчиков. Принялись они втроем за вторую хату.  
Иван работал, как колдун, — и построил сразу еще две хаты.  
У девки уже к зиме живот распух.  
— Нация опять размножится, — говорил убоготоренный Кондратий.  
— Надо другую родить, — сказал Иван, — какой не было на свете. Старая нация не нужна...  
Иван задумался о новой нации, которая выйдет из девкиного живота:  
— Надо сделать новую Суржу — старая только людей томила и хлебом не кормила. Так порешили Иван и Кондрат.  
— Благолепие будет, — сказал Кондрат и почесал свою мудрую башку, якобы родоначальник нации.

## V

По дороге, выпавшись в ближней деревне, шел человек.  
Кто знает, кем он был?  
Бывают такие раскольники, бывают рыбаки с верхнего Дона, бывает прочий похожий народ.  
Пешеход был не мужик, а, пожалуй, парень. Он поспешал, сбивался с такта и чесал сырые худые руки.  
В овраге стоял пруд, человек сполз туда по глинистому склону и попил водицы. Это было ни к чему — в такую погоду, в сырость, в такое прохладное октябрьское время не пьется даже бегуну. А путник пил много, со вкусом и жадностью, будто уголял не желудок, а смазывал и охлаждал перегретое сердце.  
Очнувшись, человек зашагал сызнава — глядел он, как напуганный.  
Прошло часа два; пешеход, одолевая великие грязи, выбился из сил и ждал какую-нибудь нечаянную деревишку на своей осенней дороге.  
Началась равнина, овраги перемежились и исчезли, запутавшись в своей глуши и заброшенности.  
Но шло время, а никакого сельца на дороге не случилось. Тогда парень сел на обдутый ветрами бугорок и вздохнул. Видимо, это был хороший, молчаливый человек, и у него была терпеливая душа.  
По-прежнему пространство было безлюдно, но туман уползал в вышину, обнажались поздние поля с безжизненными остьями подсолнухов и понемногу наливался светом скромный день.  
Парень посмотрел на камешек, кинутый во впадину, и подумал с сожалением об его одиночестве и вечной прикованности к этому невеселому месту. Тотчас же он встал и опять пошел, сожалея об участи разных безымянных вещей в грязных полях.

Скоро местность снизилась и обнаружилось небольшое село — дворов пятнадцать. Пеший человек подошел к первой хате и постучал. Никто ему не ответил. Тогда он самовольно вошел внутрь помещения.

\* \* \*

В хате сидел нестарый крестьянин, бороды и усов у него не росло, лицо было ущемлено трудом или подвигом. Этого человек как будто сам только вошел в это жилье и не мог двинуться от усталости, оттого он и не ответил на стук вошедшего.

Парень, — суржинский житель, Безотцовского уезда, — взгляделся в лицо нахмуренного сидельца и сказал:

— Фома, нюжли возвратился?

Человек поднял голову, засиял хитрыми, умными глазами и ответил:

— Садись, Иван! Воротился, нигде нет благочестия — тело наружи, а душа внутри. Да и шут ее знает — кто ее щупал — душу свою...

— Што ж, хорошо на Афоне? — спросил тот, что вошел, а звали его по-прежнему — Иван Копчиков.

— Конечно, там земля разнообразней, а человек — стервец, — разъяснил Фома.

— Что ж теперь делать думаешь, Фома?

— Так чохом не скажешь! Погляжу пока, шесть лет ушло зря, теперь бегом надо жить. А ты куда уходишь, Ваня?

— В Америку. А сейчас иду в Ригу на морской пароход.

— Далече. Стало быть, дело какое имеешь знаменитое?

— А то как же!

— Стало быть, дело твое сурьезное?

— А то как же! Бедовать иду, всего лишился!

— Видать, туго задумал ты свое дело?

— Знамо, не слабо. Без харчей иду, придорожным приработком кормлюсь!

— Дело твое крупное, Ванюха...

Пустая хата пахла не по-людски. Мутные окна глядели равнодушно и разуверляли человека: оставайся, не ходи никуда, живи молча в укромном месте!

Иван и Фома разулись, развесили мокрые портянки и закурили, уставившись на стол рассеянными глазами.

— Что ж дует! Вань, захлобьсни дверь! — попросил Фома. Устроив это, Иван спросил:

— Небось, тепло теперь в Афонском монастыре! Небось, спокойно живет там. Чего сбеждал из монахов?

— Оставь, Иван, мне нужна была истина, а не чужеродные харчи. Я хотел с Афона в Месопотамию уйти, говорят, там есть остатки рая, а потом передумал. Года ушли, уж ничего не нужно стало. Только вспомнишь детей и так-то жалко станет. Помнишь трое детей умерло у меня в одно лето?.. Уж двадцать годов прошло, небось, кость да волос остались в могиле... Ох жутко мне чего-то, Иван!.. Оставайся ночевать, может дорога к утру завокнет...

— И то останусь, Фома. Этак до Риги не дойдешь!

— Вари картохи! Жрать с горя тянет...

Уснувши спозаранок, Фома и Иван проснулись ночью.

Огня в хате не было, за окном стояла нерушимая и безысходная тишина. Как будто и поля проснулись, но был час ночи, до утра далеко, — и они лежали и скучали, как люди.

Почуяв, что Иван не спит, Фома спросил:

— Из Америк-то думаешь воротиться?

— Затем и иду, чтобы вернуться...

— Едва ли: дюже далеко!

— Ничего, обучусь нужному делу и ворочусь!  
— Мудрому делу скоро не обучишься!  
— Это верно, дело мое богатое, скоро не ухватишь!  
— Насчет чего же дело твое?  
— Пыточный ты человек, Фома. Был на Афоне и в иностранных державах, рай искал, а насущного ничего не узнал.  
— Это истинно, кому что!  
— Мужикам одно нужно — достаток! В иной год у нас ржи, хоть топи ей, а все небогато живем и туго идем на поправку! В этом году рожь с цен сошла, а и урожая никакого не было: все градом искрошило.  
— А чего ж ты задумал?  
— Слышал про розовое масло? — сказал тогда Копчиков.  
— Слышал — гречанки тела мажут им для прелести!  
— Это што! Это для духовитости. Из розового масла знаменитые лекарства делают — человек не стареет, кровь ободряют, волос выращивают — я по книжкам изучал. Я ее с собой несу. В Америке половина земли розами засажена — по тыще рублей в год чистого прибýtка десятина дает! Вот где, Фома, мужицкое счастье!..

Иван говорил зажмурившись, в избытке благородного чувства. Открыв глаза, он заметил, что в окне посерело; тогда он слез с печки и стал собираться в Америку, не стравливая зря времени.

— Куда ты? — спросил Фома.  
— Пора уходить, мне еще далече идти. Отдохнул и в ход, а то я томиться начинаю, когда задерживаюсь!  
— Рано еще, наварим кулешу, поешь и пойдешь.  
— Нет, пойду, день и так короток!  
— Ну, как хочешь. Ты, стало быть, в Америке хочешь разузнать, как розовое масло делается?..  
— Догадался? А ты думал я свечки там делать буду? Наша земля сотворена для розы! На нашем черноземе только розе и расти! Ты погляди, Фома, благоухание какое будет — все болезни пропадут!..  
— Да, дело твое лепное! Ну, ступай, чудотворец, поглядим-подышим, — много тогда рассады, должно, потребуется! Скорей только ворочайся и в морях не утопни!..

---

А Иван уже посчитал, сколько это денег будет, если каждая десятина по тысяче рублей чистого прибýtку даст.

Эта надежда на будущее счастье и шевелила его ноги по грязным полям его родины, гоня в далекую Америку.

Иван был уверен, что, действительно, нежное масло душистых и пьяных роз способно построить вечные здания в древних балках его родины, и в этих зданиях поселятся довольные, счастливые мужики со своими многочисленными семействами.